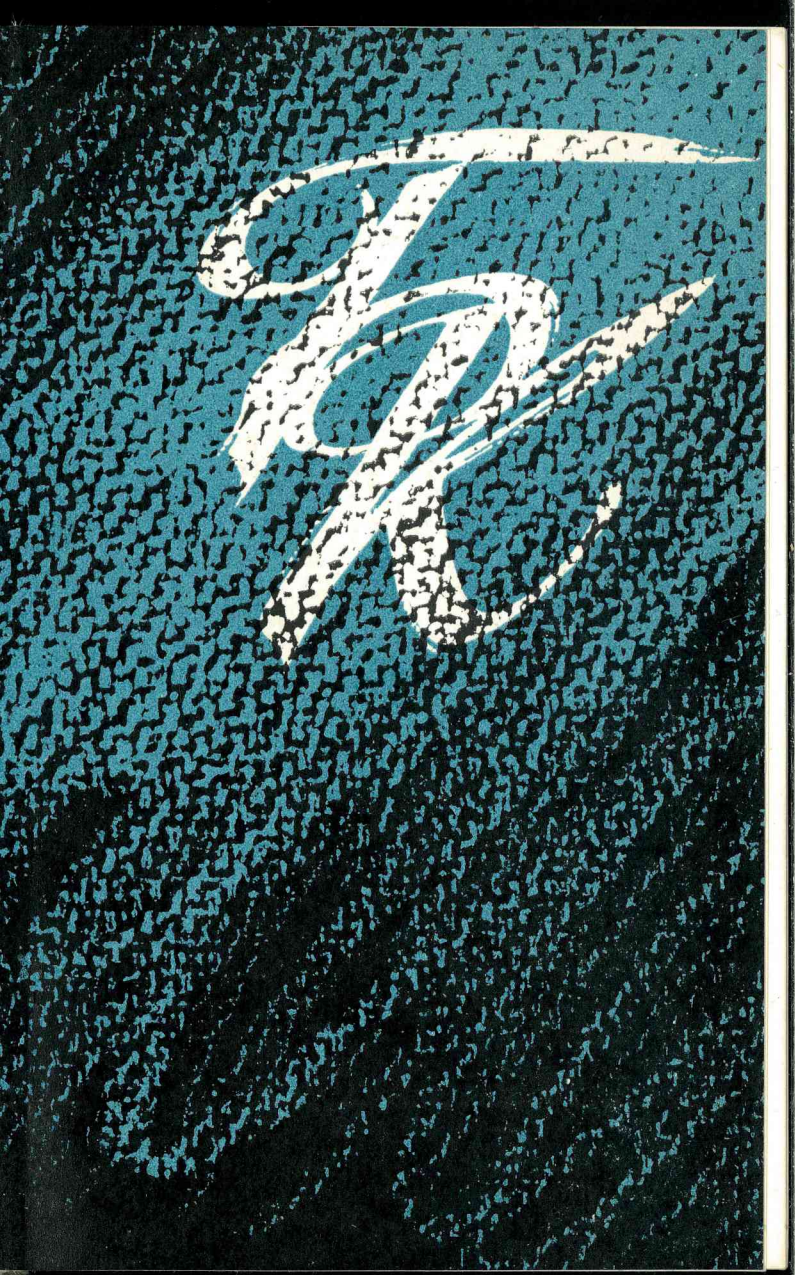
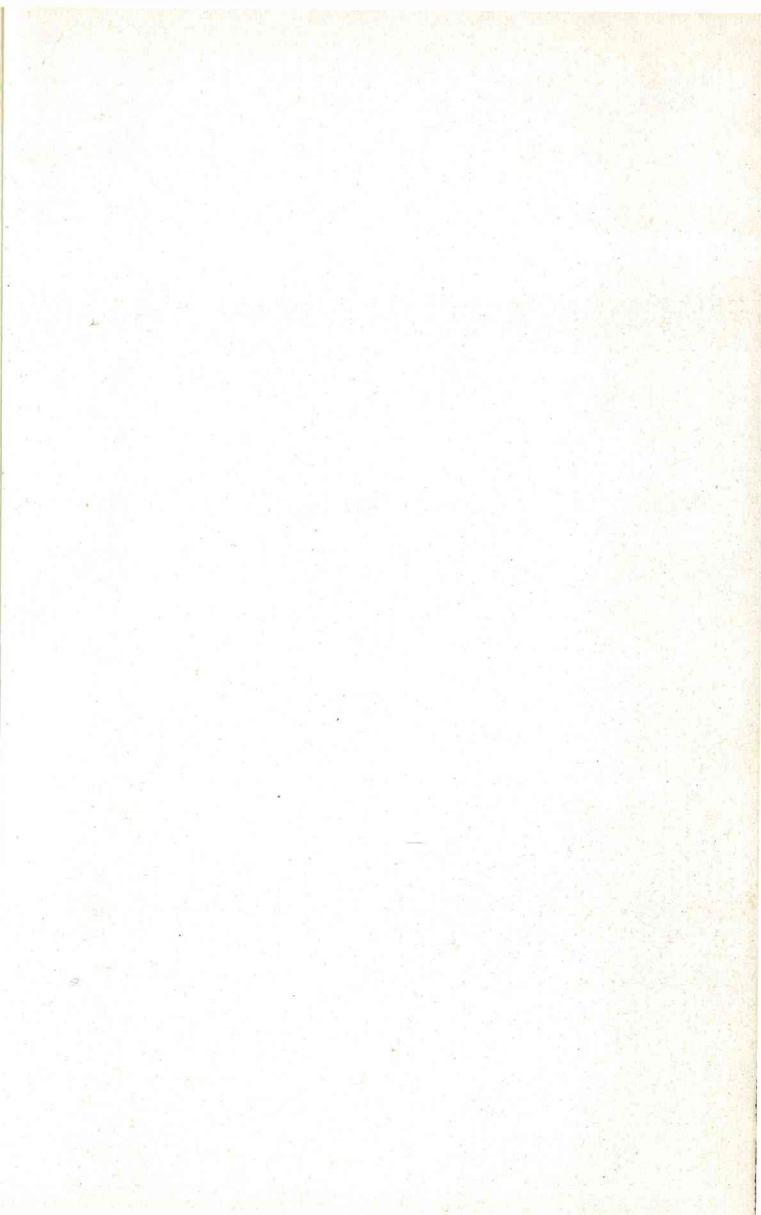


Брахе
Кочевки

СТИХИ





КАТЕДРА ЗА ИСТОЧНОСЛОВЕНСКИ
И ЗАПАДНОСЛОВЕНСКИ ЈАЗИЦИ
И КНИЖЕВНОСТИ

Бр. 20594

18. 11. 1995 год.

СКОПЈЕ

Лсл. 184

300,00 gen
286 ap
17 cm.



Блаже Кочески

СТИХИ

Перевод с македонского



Москва
«Художественная литература»
1987

ББК 84.4Ю
К64

БЛАЖЕ КОНЕСКИЙ

Предисловие
М. Блечича

Оформление художника
А. Томила

К $\frac{4703000000-167}{028(01)-87}$ 185-87

© Составление,
предисловие, пере-
воды, не отмечен-
ные *, оформле-
ние. Издательство
«Художественная
литература»,
1987 г.

СЛОВО О ПОЭТЕ

Как, вышивальщица, вышить словами
песню, звучащую просто и строго...

Б. Конеский

Блаже Конеский родился 19 декабря 1921 года в селе Небрегове под Прилепом. Здесь он прожил до восьми лет, пока семья не переселилась в Прилеп. В этом красивом, тихом, богатом историческим прошлым и легендами городе Пелагонии Конеский окончил начальную школу и первые классы гимназии; завершить гимназию ему пришлось уже в Крагуеваце, высшее образование (филология) он получил в Белградском и Софийском университетах.

Первые стихи Блаже Конеский написал в десять лет. Читатели впервые услышали имя крагуевацкого гимназиста в 1938 году, когда в газетах «Млади Шумадинац» и «Подмладак» были опубликованы три его стихотворения: «Сонет», «Отрывок из исповеди» и «Прощание с летом». По-настоящему Блаже Конеский вошел в литературу в 1939 году, написав первые значительные стихи на родном языке; этот год принято считать началом его литературного творчества.

Послевоенную литературную, научную и культурную деятельность Блаже Конеский прочно связал со Скопле и родной Македонией. Он был профессором и ректором университета в Скопле, а после основания Македонской Академии наук и искусств — первым ее президентом.

Велик вклад Конеского-ученого в развитие науки о языке и литературе. Его научные труды признаны не только в Югославии, но и за ее пределами. Конеский — автор первой «Грамматики македонского литературного языка» и «Истории македонского языка», многих других трудов.

Блаже Конеский — автор поэтических сборников «Земля и любовь» (1948), «Стихи» (1953), «Вышивальщица» (1955), «Записи» (1974), «Старые и новые стихи» (1979), «Чешмы» (1984). Он пишет также прозу и эссе.

За заслуги в литературной и научной деятельности Конеский удостоен многих республиканских, югославских и международных наград. Имя Блаже Конеского высечено на мраморной доске в Цетине в ряду лауреатов высшей литературной награды Югославии премии имени Негоша — Михаила Лалича, Мирослава Крлежи, Меши Селимовича, Бранко Чопича, Оскара Давичо, Йосипа Видмара и Десанки Максимович. Плодотворная работа Конеского в области перевода русской поэзии отмечена советским орденом «Знак Почета».

В современной македонской поэзии «вышитые словами песни» Блаже Конеского — художника, никогда не приспособливавшегося к вкусам преходящей моды в искусстве, отличаются тем высоким мастерством, которое сразу привлекает внимание и надолго остается в памяти. Поэзия Конеского, подоб-

Но поэзии хорошо знакомых советскому читателю Десанки Максимович, Добриши Цесарича и Стевана Раичковича, вот уже свыше четырех с половиной десятилетий развивается по законам мироощущения самого поэта, тесно связанного с духом и плотью родного народа и его бурной историей. В произведениях Блаже Конеского внимательный читатель и толкователь поэзии может увидеть, как на экране, многовековую судьбу македонской земли и ее народа. История, традиция и современность составляют три основных круга тем, мотивов, импульсов и интересов поэта. Конеский пишет и думает о том, что волнует нынешних и будет волновать будущих читателей. Его поэзия многими своими истоками, образами и сюжетами уходит в глубины средневековья. Воскрешение далекого и бурного прошлого так же, как и отражение нашего противоречивого настоящего, продиктовано чистой совестью и творческим сознанием человека, стремящегося сказать жизненно важное, веское и правдивое слово.

Поэзия Блаже Конеского воссоздает эпизоды из истории македонского народа и ее героев, крепости, города, церкви, монастыри, недавнее прошлое и сегодняшнюю жизнь. Проникает в сложный, прихотливый внутренний мир женщины, раскрывает переживания и муки, которые приносит любовь; пишет о революционерах-аскетах, о старости, о смерти, о детях, о растениях, о вещах, о птицах, о чаяниях, о кошмарах, о смехе, о танце, о молодости, о слове, о влюбленных девушках, о тишине, о равнине, об осеннем утре, об озере, о молитвах, о возвращениях, о реках, о горах, о нравственных подвигах простых людей, о воспоминаниях, о снеге, о памяти и о многом другом. Поэтическую интерпретацию получили в его творчестве и вечные образы Одиссея, Колумба и Дон Кихота. Стихотворения, посвящен-

ные им, принадлежат к лучшему, что создано в югославской поэзии за восемь с половиной десятилетий нашего столетия на эту тему. К ним примыкает и запечатленный в стихах образ Че Гевары, легендарного революционера Латинской Америки, воплощающий бескомпромиссную мысль поэта о свободе и прогрессе.

Читательский интерес к творчеству Блаже Конеского и доверие к его поэтическому слову необычайно велики. В Югославии, а особенно в его родной Македонии, пожалуй, нет уголка, где бы не знали и не любили его поэзию. Нет, вероятно, и ни одного любителя поэзии, говорящего на македонском языке, который не хранил бы в памяти стихи Конеского. В сознании большинства македонцев постоянно звучат мелодии его хрестоматийных стихов «Тёшко-то», «Солнечная колонна», «Ангел Святой Софии», «Вышивальщица», «Стерна», «Лишение силы», «Большой Дойчин», «Аскеты» и многие другие.

Свыше двадцати лет назад, на поэтических встречах в Прилепе, Куманове, Скопле, Охриде и Струге, мне впервые довелось наблюдать, как удивительно восприимчив македонский народ к поэзии Блаже Конеского. Для меня, как и для других участников, эти литературные встречи стали подлинным событием и глубочайшим переживанием, и не только по своему масштабу и характеру, но и как свидетельство огромной силы, которой и в наше время обладает истинная поэзия. Перед выступлением Конеского на лицах всех присутствовавших — детей, школьников, студентов, людей среднего возраста и пожилых — появилось особенно торжественное, необычайно серьезное выражение, словно они участвовали в каком-то торжественном обряде или своеобразном праздничном шествии. Наступила полная тишина. Не шелохнувшись, с максимальным напряжением и

пытливостью слушали они и вбирали в себя стихи и голос Конеского.

Интерес к стихам поэта возрос еще больше пять лет тому назад, когда в 1981 году ему был присужден Золотой венок Стружских вечеров поэзии. Три дня и три ночи жители Охрида и Струги, югославские писатели и журналисты, зарубежные гости с волнением и нетерпением ожидали минуты, когда в старинной церкви Святой Софии в Охриде появится Блаже Конеский, примет Золотой венок и прочтет свое слово и стихи, специально выбранные для этой церемонии. Это был настоящий праздник поэзии, какой еще можно увидеть лишь в Советском Союзе.

Поэзия Блаже Конеского пользуется популярностью не только у массового читателя, но и в узких кругах творческой интеллигенции. Конеский завораживает читателя филигранной отточенностью, выразительностью поэтического языка, мастерством обобщения, богатой ассоциативностью. Особым вниманием стихи поэта пользуются у художников и искусствоведов. Они страстные истолкователи его живописных зарисовок памятников культуры, архитектуры, фресок. В качестве иллюстрации хочется привести одно из таких стихотворений — «Ангел Святой Софии»:

Ты, задыхавшийся в угрюмой
стене под известью и мелом,
в пространстве вновь витаешь смело,
о, светлый отрок светлой думы —
опять во взгляде жизнь и нега,
и свод сияет, словно небо.
Но образ тот, что мною спрятан
под штукатуркою грудною, —
в дни молодые он когда-то
казался мне твоей сестрою —
его спасти не сможет мастер,
с моею жизнью он погаснет.

Стихи Блаже Конеского пользуются популярностью не только среди македонских почитателей поэзии, его поэзия стала фактором сербской, хорватской и словенской культуры. Во всех республиках изучается творчество этого замечательного македонского и югославского поэта, ему посвящены многочисленные статьи, эссе, монографии. Если отобрать наиболее удачные из них, они составили бы по меньшей мере два тома. Сборники Конеского выходили на французском, румынском, греческом, турецком, венгерском, польском, чешском, итальянском и английском языках — и таким образом его стихи пересекали границы многих стран.

Поэзия Конеского, как, впрочем, и любого истинного поэта, напоена дыханием и ароматом той земли, на которой она выросла. На ней лежит отблеск истины коллективного сознания, основное ее устремление — служить человеку и гуманности. Говоря о прошлых и недавних страданиях людей, поэт страстно отстаивает достоинство человеческого рода, которому неизменно угрожают жернова времени и злые силы. В борьбе за человека и человечность должно участвовать и пламенное поэтическое слово. Четыре с половиной десятилетия сражается против насилия и поэт Конеский. Это подтверждают строки из его стихотворения «Тешкото», созданного в 1946 году. В заглавие вынесено название массового народного танца, проникнутого мужеством и особым драматизмом. Его танцуют только мужчины. Поэт пишет о жестоких репрессиях, которым в годы второй мировой войны подвергали фашисты ни в чем не повинный македонский народ:

Поля их — столетья неволи тяжелой,
а музыка их — звон железный, кандалный,
их головы низко опущены долу,
проходят они вереницей печальной.
О диких расправах с народом несчастным,

о мрачных веках кто поведаст мне?
Кто правду всю скажет о рабстве ужасном
в крови и в огне?

Рассказывая о возникновении этого стихотворения, Конеский пишет: «...По старому обычаю на третий день пасхи окрестные крестьяне собирались в Прилепе. Гремела музыка и песни. Но была война, время опасное, люди подавлены — мало кто решился прийти, редкие упрямые кучки людей стояли молча, не слышно было ни песен, ни музыки. И вдруг на старой площади я увидел девичий хорвод, «глухой», без музыки. Значит, все-таки не «тешкото»! Плясало несколько деревенских девушек в народных костюмах нашего края, у некоторых на ногах даже не туфли или опинцы, а деревянные сандалии. Но как же серьезны были их лица — они будто совершали некий торжественный обряд! Я стоял как вкопанный, охваченный каким-то глубоким смутным чувством, точно за одно мгновенье пережил все то, что позднее должно было вылиться в стихи. В то мгновенье у меня вырвался лишь тяжелый вздох, и я с трудом подавил слезы».

Стихотворение «Тешкото» стоит в ряду самых сильных поэтических свидетельств о народно-освободительном движении и революции в Югославии. Поэт в нем говорит как бы устами всего народа, ведомый его мыслью, пользуясь его языком, говорит просто и мудро, сильно и сдержанно обо всех и о каждом, решительно и мужественно. В стихах чувствуется зрелое и незаурядное художественное дарование, хотя поэту было тогда всего двадцать четыре года. Он долго вынашивал эти строки, долго писал и дописывал их; они родились словно заключительный аккорд революционной, нравственной, языковой и музыкальной мелодии, в которой звучат и лирические, и эпические ноты.

Спокойно и мудро подходит Конеский к историческим темам. Подобно археологу, он вначале снимает все напластования, отмечает дымку тумана и заблуждений и лишь потом словом, образом и метафорой возводит свое детально продуманное строение, свои до совершенства просто написанные стихи и поэмы. Он сначала прислушивается к пульсации жизни, собирает все ее голоса, связующие нити и движущие силы, много раз отмеряет и проверяет и лишь затем по праву поэта и гражданина провозглашает свою истину, свое видение мира. А личная истина Конеского конденсирует в себе истину самых широких народных масс.

Поэтому и стихи его воспринимаются не только как голос одного человека, но и как голос коллективного сознания. В этом величайшее достоинство его поэзии.

Творчество всякого значительного поэта естественным образом связано с культурным наследием народа, который дал ему жизнь, с его традициями, с его ризницей, из которой он черпает вдохновение. В языке любого народа есть два прекрасных, многозначительных слова, исполненных глубокого смысла: поэзия и традиция. Вместе со словом «свобода» они составляют неразделимое триединство как в старой, так и в новой европейской поэзии. Об отношении Блаже Конеского к традиции и новаторству лучше всего говорит он сам: «Я родился в центральной Македонии, в селе неподалеку от Прилепа, в среде, жившей под сильным влиянием устной поэзии и старинных преданий. Легенды, которые впоследствии обработаны в некоторых моих произведениях, я узнавал не из книг, я слышал их в раннем детстве у себя дома от старших. И теперь еще у меня мурашки пробегают по коже, когда я вспоминаю, каким торжественным голосом их расска-

зывали и какими выразительными жестами повествование сопровождалось. Уже тогда ворвалась в меня Стерна, страшная подземная река.

Здесь, в личном опыте, истоки тесной связи с традицией, несмотря на процесс модернизации, неизбежно толкающей к поискам иных форм художественного выражения, далеких от наследия устной народной поэзии. Отсюда проистекает и глубокое уважение к тем безымянным творцам, на основе устных традиций самобытно воспроизводившим старые мотивы и таким образом донесшим их и до нас. Эти мотивы я использовал в своих стихах «Больной Дойчин», «Лишение силы», «Стерна», «Марков монастырь» и других. Разумеется, тем самым я обретал способ выражения своей жизненной философии, своих проблем, своей тревоги и негодования. Я прибегал к новациям, находил современные выразительные средства для передачи старых заветов и менял их, учитывая интересы своих современников. В то же время я никогда не считал, что глубиной осмысления я превосхожу своих предшественников, которые те же мотивы облекали в свойственную их эпохе форму. Могу сказать одно: ответственность творца перед лицом проблем человеческого существования они осознавали точно в такой же мере, в какой осознаем ее и мы, современные поэты. Поэтому, по-новому использующему в своем творчестве традиционные мотивы, сопутствует одно благоприятное обстоятельство. Поскольку эти мотивы уже присутствуют в сознании слушателей, автору с их помощью легче установить контакт с аудиторией, найти у нее непосредственный отклик и одновременно предоставить ей возможность судить, насколько успешно новое решение».

Блаже Конеский — один из тех подлинных поэтов, которые знают, что только счастливо найденное

и точно употребленное слово, оптимально передающее мысль, слово образное, заключающее в себе всю полноту чувственных ощущений и ассоциаций, — только такое слово имеет непреходящую ценность в веках.

Исследуя поэтическую традицию в широком аспекте, Конеский исходит из глубокого убеждения в своеобычности каждого народа и неповторимости его языка, а коль скоро это так, то и традиционные художественные символы народов своеобразны и специфичны. При всей самобытности и при всех различиях в традициях, по мнению Конеского, существует и некая универсальная величина, характерная для многих народов и их культур, являющаяся безусловным следствием многовекового соприкосновения народов, взаимопроникновения их языков, заимствования и передачи определенных ценностей и прежде всего овладения энергией самой литературы.

Поэзия раньше всех остальных видов художественного творчества преодолела преграду географического и национального размежевания и сделалась общечеловеческой. Вероятно, поэтому в творчестве многих крупных поэтов мира присутствует то, что явственно принадлежит всем национальным и поэтическим традициям. На таком произвольном взаимодействии или общих корнях славянского искусства зиждется связь и родство поэтической образности, например, Блока, Пастернака и Конеского. Общую пульсацию и схожесть легко обнаружить в произведениях Конеского и сербского поэта Куленовича. Лучше всего свидетельствуют об этом «Стоянка, мать из Кнежеполья» Куленовича и «Тешкото» Конеского — произведения с сильным драматическим и героическим акцентом. И, наконец, чистая лирика Конеского несомненно перекликается с некоторыми поэтами неславянского происхождения, с Гейне, например.

Таким образом поэзию Конеского в лучшем смысле этого слова питает творческая связь с македонской и сербской художественной и народной поэзией. Художнический поиск поэта направлен также на лучшие образцы классической и современной русской, польской, немецкой и чешской поэзии.

Поэтическое творчество Блаже Конеского можно разделить на три периода. К первому периоду относятся произведения, написанные с 1939 по 1951 год, в которых преобладает социальная и патриотическая тематика. Упомянувшееся выше стихотворение «Тешкото» по праву занимает центральное место в послевоенной македонской поэзии. Второй период составляют стихотворения, созданные с 1951 по 1961 год. На этом этапе получили развитие лучшие особенности поэзии Конеского, появились новые произведения, приведшие поэта к вершинам современной югославской поэзии. Заглавное стихотворение одной из книг этого времени носит название «Вышивальщица» и говорит о творческой лаборатории поэта. Стихотворение написано под впечатлением выпущенного в те годы альбома репродукций македонской вышивки, в которой традиционно доминируют красный и черный цвета. В сознании поэта они приобрели символическое значение:

Видно, от века два цвета нарочно
связаны силой одной роковой,
черный во мрак погружает полночный,
красный же — кровью цветет заревою.

.
Ты уловил звуки дивные песни
и о судьбе своей спел вместе с нею.

К третьему периоду принадлежат стихотворения, опубликованные с 1961 по 1984 год. Для этого периода более всего характерна рефлексивная и философская лирика. Конеский не принадлежит к поэтам,

«пекущим» сборник за сборником. Его жизненное и творческое кредо лучше всего выражают давно и точно сформулированные слова Виктора Гюго: «Поэт должен советоваться только с природой, истиной и своим вдохновением, которое также есть истина и природа». Именно природой, истиной и вдохновением и руководствуется Блаже Конеский в своем поэтическом творчестве.

Читательский интерес к поэзии Блаже Конеского будет, несомненно, возрастать с течением времени, ибо поэт мастерски переплетает чувство с рефлексией, традицию с новаторством, опыт прошлого с новейшими поэтическими течениями; ибо и обычные вещи, неприметные жизни и человеческие судьбы получают в его произведениях такое же отображение, анализируются столь же скрупулезно и освещаются с тем же вдохновением, с какими он подходит к осмыслению так называемых больших тем. Конеский всегда пишет о самом главном и животрепещущем, и это уже само по себе возвышает и придает эпичность его поэтическому слову, вызывает общий интерес и доверие к нему. А доверие читателей всегда было и остается высшим и самым дорогим признанием для Конеского. Для любого поэта нет ничего важнее проверки временем: теряют ли его стихи свою силу или, наоборот, умножают ее, столкнувшись с новым читательским опытом и эстетическими вкусами? Поэзия Конеского много раз с честью прошла такого рода испытание.

У поэтической вышивальщицы Блаже Конеского корень «старой лозы», она любит и сердцем и душой; голос ее, о чем бы она ни пела, проникнут заботой о человеке, чистым и верным чувством, он всегда самобытен и мудр.

Милорад Блечич

*Устное
законие*

1941–1945

ПЕСНЯ ЖИЗНИ

Злобные лаяли псы,
скользко было и грязно.
И вот на меня навалилось
все это в ночи непролазной.

Кровавое время,
твое
изуродованное коченеет тело.

Горячие буйные головы
молот крошит то и дело.

И-и-и-и!
Задыхаемся,
но напролом несемся.
Мы не сдаемся,
Насмерть кусаемся
остервенело!

КОЛОКОЛА

Зря на поиски ближнего
Сердце себя истратило...
Куда-то ушел в одиночестве,
Слушая темный шум.

Некто ушел, стыдящийся,
Думать о друге трепетно,
Время терять на поиски
Необходимых слов.

Так в конце концов исчезает
Все, о чем я мечтал в одиночестве,
Только обида оставлена,
Только печаль в душе.

НОЧНАЯ ПЕСНЯ

Люблю я бродить один.
Ночь лаской меня встречает,
и каждая мне звезда
навстречу свет излучает.
Луна в голубых сетях,
как в люльке, меня качает,
и мысль в душе у меня —
глубокая, сокровенная —
растет, ветвится, крепчает.

Глаза поднимаю ввысь —
над миром вечность пылает.
На краткую ночь она
поэта усыновляет.
Всесилен я! Песнь моя
летит, меня окрыляет.
«Явись! — я тебя зову, —
Так сердце мое желает!»

Пою мою песнь, пою —
и небо мне отвечает.
Но ты не любишь меня,
но ты не слышишь меня —
и больше, чем ночь, тоска
растет —
и все заглушает...

РАЗЛУКА

День у судьбы суждено нам вымаливать,
маяться снова в разлуке печалью
и говорить себе: не забывай меня!—
встретимся снова с тобою едва ли мы.

Путь преградят нам мосты поврежденные,
путь города преградят нам сожженные,
путь перережет нам пуля в упор.
Снова мы сможем сродниться с печалью
и говорить себе: не забывай меня!—
встретимся снова с тобою едва ли мы.

ПОХОРОННАЯ ПЕСНЬ

С богом, старая!.. Только ты
вечно считала меня дитятей.
Через деревню проносят гроб,
колокол гудит об утрате.

Я не приеду, слез не пролью;
разлучились давно и точка...
А когда я был малышом,
ты мне шела песню про почку.

С богом! В сырой земле отдохнешь...
День или ночь — все в земле едино...
Больше не вскрикнешь, не разглядишь
рваной раны на теле сына...

СТАРАЯ

Старая медлит перед темным порогом:
стала глуховата — в страхе озирается,
все-то ей мерещится — кто-то насмехается.

Старая медлит перед темным порогом:
стала слеповата — загодя к рогоже примеряется,
с мертвыми во сне все перекликается.

ПЕСНЯ УЗНИЦЫ

В темноте проснись от крика —
он не раз меня будил...
Душно, холодно и дико,
я уже совсем без сил.

Ночь пришла, сижу как в яме —
хохот слышится в сениях,
и немой мертвец ногами
по стене скребет впотьмах.

Юность ощущает силу:
«Не желаю быть рабой!»
Вот и бросили в могилу
за отвагу и любовь!

Сумрак встал зловещей тенью,
превратился в темноту,
отнимая на спасенье
и надежду и мечту.

Ночь полна дыханья злого,
всхлипы слышатся в сениях, —
и мертвец ногами снова
по стене скребет впотьмах.



1945

Поэма

1

Край несчастный, край наш отчий
покидала вражья свора,
предавала в злобе волчьей
все вокруг огню и мору.

Нам враги несли погибель —
годы муки и печали —
напоследок сапоги их
след кровавый оставляли.

Но ушла пора лихая,
и на пепелище горьком,
днем и ночью громоухая,
закипела стройка.

Туннели рыли, рельсы клали
и проложили
 магистраль,
и час настал!
Тверда рука у машиниста,
и в черном дыме,
 в красных искрах
пошел состав.

Еще солнце еле-еле
выползло из-за вершины,
а из темного туннеля
с воем

вырвалась
машина!

На мгновение
застыла,
очумев от солнца,
и глаза свои
прикрыла,
и копытами
забила,
и заржала
что есть силы.
и вперед
несется,
бурно
радуется воле,
прыгает,
играет
и, пересекая поле,
рельсы
подминает, —
не страшна
кривизна

пути,
силы есть
 в груди,
и лети, стальная,
поутру
 на ветру
гриву
 развевая!

Путь свободен — вперед!
Нескончаем полет!
Край наш молодеет весь,
радостью наполненный,
солнце из железных рельс
высекает молнии.
Расширяется равнина,
и по ней река течет,
а машина
не сбавляет ход.
Извивается река,
как змея,
и ее разорвет
колея!
До упора рычаг!
Паровоз закричал!
Вперед!
Выситя железный крик!
До реки всего лишь миг,
шаг лишь до нее всего,
но вдруг мускулы свело,
скрежетнули тормоза,
и застыл, упасть грозя,
конь железный,
два передних колеса
точно две ноги висят
над речною бездной!

Изогнулась спина
взорванного моста,
скорбно плещет волна
о стальные кости.

За этот мост сражение шло,
 снег падал с веток, пулемет
 стучал отчаянно и зло,
 от взрывов трясса небосвод.
 За мостом пламя задрожало,
 и город охватил пожар,
 и день стал черным от пожара,
 но враг еще не побежал.
 Мученье улиц,

стоны, ужас...

Столпотворенье

началось...

Пошли саперы в наступленье
 спасать наш мост!

Картечь еще сильнее хлестала,
 всю железо скрежетало,
 от боли корчилась река —
 в нее немало пуль попало,
 но доставала смерть врага.
 Однако же под мостом скрыт,
 тайком хохочет динамит,
 округа вздрогнула от взрыва,
 и мертвый мост волна накрыла...

Но вот уже у моста
работа закипела.
Пыль поднялась до солнца,
взлетают кирки смело,
сверкает пот на коже.
Работают тут знающие дело,
и в помощь им отряды молодежи.

Ухает молот,
гудит арматура,
кран-великан,
однорукий, хмурый,
крутится так, что аж рельсам жарко,
искрами
брызгает
газосварка.

Строится мост. Он поднялся ныне,
словно больной после долгой муки.
Распрямляет плечи стальные,
над рекой простирает руки.

6. РАССКАЗ СТАРОГО МАСТЕРА

«Все мастера и все подмастерья,
послушайте мой рассказ о сыне!
Меня сломила моя потеря,
и нет предела моей кручине.
Едва родившись, качаясь в люльке,
мой соколенок был сирота.
Какие страхи, какие муки
одолевали меня тогда!
Его поил я, кормил и нянчил,
я был заботлив, но также строг,
но все ж по-бабьи у бога клянчил,
чтоб тот от хвори сына сберег.
Как подрастал юн, до боли помню,
и первый зубчик, и первый шаг,
и слово первое — и нелегко мне
о том поведать — свербит душа.

Он спал со мною, герой, сынок,
и улыбался во сне, спокоен,
ведь он не ведал, что я убог
и нищ, и злобной судьбе покорен,
и побороться я с ней не мог.
Не засыпал я от этих дум,
на жестком ложе всю ночь кряхтел,
в ушах держался проклятый шум,
я жить с отчаянья не хотел.
Судьба такая дана на кой мне —

о самом черством мечтать куске,
а надо мною гнилая кровля,
огонь не теплится в очаге.
За что такое мне наказание,
что в праздник божьего рождества
гляжу слепыми от слез глазами
и вижу горе, а не Христа.
Судьба поденщика, ты как змея,
все соки выпила из меня.
Но спал спокойно мой славный мальчик,
и непонятым казалось мне,
что не тоскует он и не плачет,
а улыбается мне во сне.
Я прижимался к худому тельцу,
в нем было столько тепла и жара,
куда ж от горя мне было деться,
и по морщинам слеза бежала.

Сосной высокой поднялся сын мой,
в глазах сверкают огонь и сила,
но лоб от мысли глубокой, сильной
уже морщина избородила.
Его карали враги жестоко,
сажали в тюрьмы, а он был храбр.
Чего он хочет, мой сын, мой сокол,
не понимал я — ведь я был раб.
Когда же в город пришло воззвание
подняться краю на смертный бой,
в леса зеленые партизанить
подался первым сыночек мой!
Три лютых зимы, три знойных лета
он шел с винтовкой сквозь смерть и ад,
за ним, за смелым, шли люди следом
и пополняли его отряд.
Не устранившись огня и дыма,
мой сокол сизый летит вперед,

а пули, злобствуя, свищут мимо,
не остановят его полет.
Сын бил фашистов три долгих года,
и возле моста в последний бой
он поднял роту и вскоре отдал
жизнь молодую за город свой.
Окрасил землю своею красной
горячей кровью, и чистый взор,
такой отважный, прямой и ясный,
погас, как звезды за высью гор.
Я, ожидая его прихода,
весь истомился от тишины,
но не стучит он в мои ворота,
шаги на улице не слышны.
Его у моста нашел я утром,
среди героев лежал сынок,
и целовал я и гладил кудри,
и оторваться от них не мог.
На погребенье пришел весь город,
хор, не смолкая, гремел опять:
вовеки славен герой, который
своею смертью смог смерть поправить!
И я заплакал, мне легче стало,
дышать мне стало куда вольней,
как будто мир, издревле старый,
сменился новым в душе моей.
Не боль, а чудо меня пронзило,
сквозь слезы зорче я стал смотреть,
и, полный горя, я понял сына,
за что он — понял — пошел на смерть,
и это в каждом таится сердце,
как самый высший и чистый дар,
не часто пламени разгореться,
но под золою таится жар.
И вот свободу, как откровенье,
я наконец-то понять сумел.

Кончалось скорбное погребенье,
молчали люди, и хор гремел.
Сказал я сыну: «Прощай, мой славный,
да будет пухом земля сырая.
Тебе, как памятник, я поставлю
мост, где упал ты, народ спасая».

Ведь каждый мастер — родитель тоже,
пусть внемлет клятве моей отцовской.
И обращаюсь я к молодежи,
в ней, точно в сыне, задор бойцовский.
Мост надо строить и строить споро,
мост выйдет — загляденье просто!
Кровь пропитала его опоры,
сам смерч не страшен такому мосту!»

Мост готов!

Стройный красавец!

Поутру проснется
и растянёт свои арки мост,
и к нему идет
одинокий гость —
солнце.

Солнышко голое в реку нырнуло,
съежилось — холодно на рассвете,
не захлебнулось, не утонуло,
мост же из тени расставил сети,
солнце он в сети поймать желает;
плещет волна, трава под росой,
смех отдаленный, как жемчуг сверкает,
радуга аркой стоит над рекою...

Но едва лишь

трепет

тайный

по стальной

пройдет

дороге,

пусть неяркий,

дальний-дальний —

цепенеет

мост

в тревоге.

И звучит
 протяжный крик
радости и муки.

Путь свободен — вперед!
Нескончаем полет,
и ликует страна,
и поют луга,
и дорога
 видна
нам
 издалека!

Земля и труд

1948

ТЕШКОТО ¹

О тешкото! Дико завоют вдруг зурны,
гремит барабан, словно грохот подземный,
а сердце мое заволнуется бурно,
сжимается грудь, как в неволе тюремной,
по-детски я плакать хочу почему-то
и руки ломать, закрывая свой лик,
и губы кусаю я до крови люто,
сдержать хочу крик.

О тешкото! Старцы идут величаво,
на лбу их — морщины, глаза у них влажны,
ступают неслышно на мягкие травы,
подходят медлительно, сдержанны, важны.
Гремит барабан, старики закричали,
и молнией блещет у каждого взгляд,
вперед устремились, забыв про печали,
в сомкнувшийся ряд.

Тут парни пустились вслед за стариками,
из клетки грудной сердце рвется, как сокол,
в глазах засверкало сокрытое пламя,
и молодость тянет к полету высоко!
Шумит хоровод и кружится, топочет,
земля завертелась, леса и холмы,

¹ Т е ш к о т о — мужской македонский танец.

как будто весь мир заплясал, и грохочет
гул эха из тьмы.

Как будто вдруг тешкото силой исконной
с землею всей нашей сроднилось навеки,
в нем ветер беснуется неугомонный,
в нем тяжело бушуют разливами реки,
в нем шепчут колосья созревшего жита
и слышно, как пахнут весною поля,
как нежится, золотом солнца залита,
и дышит земля.

И кажется мне, что сплелись хороводом
тяжелые муки, что тучей когда-то
висели над нашим несчастным народом,
страдавшим веками в неволе проклятой,
лелеял мечту он о счастье великом,
о радостной жизни на вольной земле,
о песне любви, журавлиным криком
звучавшей во мгле.

О тешкото! Вижу я с болью сердечной,
как вдаль расстилается мгла голубая,
становится цепь твоя вдруг бесконечной,
темнеют холмы, вдалеке исчезая,
вот тени из мглы появляются тайно,
и тень вслед за тенью вплетается в круг,
и сын за отцом — в хороводе бескрайном,
за дедом вслед — внук.

Поля их — столетья неволи тяжелой,
а музыка их — звон железный, кандалный,
их головы низко опущены долу,
проходят они вереницей печальной.
О диких расправах с народом несчастным,
о мрачных веках кто поведает мне?

Кто правду всю скажет о рабстве ужасном
в крови и в огне?

О, кто сосчитает все лютые раны,
все зарева, все пепелища пустые,
все муки, что в сердце копились багряно,
все горькие слезы, проклятья глухие.
О тешкото! Рабскою цепью когда-то
ты был, и красивейших девушек, жен
тянул вереницей насильник проклятый
и гнал их в полон.

О тешкото! Рабскою цепью когда-то
ты был, но поднялся народ за свободу,
и гневный удар громового раската
раздался в кругу твоего хоровода!
Твой пляс закружился в огне и тревоге
под грохот ружейный в кровавом бою,
и вихрь твой взметали мятежников ноги
в родимом краю.

О тешкото! Вот почему, если в селах
я вижу твои хороводы на воле,
становится грустно от песен веселых;
и сердце сжимается тяжело до боли.
Из рабства ты вышел, народ мой свободный,
в душе своей дар золотой пронеся,
да будет пшеница втройне плодородной,
как жизнь вся твоя!

ИЛИНДЕНСКИЕ¹ МЕЛОДИИ

1

Для меня цветешь ты, роза белая,
и моя ты будешь, девушка красивая!
Ты, юность моя сильная, чтоб жизнью насладился,
ты, девушка красивая, чтоб я в тебя влюбился!

¹ В Ильин день (Илинден) — 2 августа 1903 года — началось восстание македонского народа против османского ига, в начале которого погиб его руководитель Гоце Делчев.

Бедное сердце, замри и молчи!
Время, назначенное для счастья,
можно в тюрьме запереть на ключи,
душу — на части, кандалы — на запястья.

Вечером вчера во тьме
явор-дерево шумел.
Только лег, уснул я только,
странный сон приснился мне.
Мне приснилась мгла ночная,
и два сокола во мгле
с крыльев стряхивали жемчуг.
— Мама, что все это значит,
что за этой мглой маячит?
— Этот сон, мой сын,
тяжек, словно стон:
в нем ночная тьма — приговор, тюрьма,
а два сокола — два брата,
а жемчуг мелкий — цепь сама.

Сидит молодец в остроге
с кандалами на ногах,
с мелкой цепью на руках.

И не видно на дороге,
чтобы кто спешил проведать,
ой, печали!

Утром встанут на пороге,
добра молодца возьмут
и на гибель поведут.

И не слышно на дороге,
чтобы кто спешил спасти,
ой, печали!

О черный ворон,
 жалкий птенчик с черным
 взором!
Ты черный вестник
 с черным приговором!

Огромная печаль, страдания сердцевина —
по юности твоей, погубленной безвинно.

Ты сильным был рожден, и, награжденный силой,
ты рабству предпочел свидание с могилой!

Ты вычистил ружье, собрал отряд, который
в зеленые леса ушел с тобой и в горы.

Завистник и злодей тебя охране предавал.
Пора, чтоб он сполна возмездья вкус отведал!

Встань, воскресни, явись, Гоце-воевода,
ты достаточно терпел горести народа!

Ждут тебя все:

лес, поле в росе,

крестьянские горбы,

тюремные рабы.

Встань за народ,

дай свет свобод!

Чтоб весна пришла весною,

чтобы нашим стало поле,

чтобы села улыбались,

чтобы радовались воле!

ПЕСНЯ

Спой же мне, внучек, спой же мне
Стояна песню старую,
Стояна песню славную,—
как воевал, как дрался он,
где ходил с партизанами,
спой мне, как храброю смертью пал,
как был убит фашистами.

Как же, дедушка, петъ тебе
о твоём сыне Стояне,—
как воевал, как дрался он,
где ходил с партизанами,
петь мне, как храброю смертью пал?
Очень ты, дедушка, жалостлив.
Песню начать лишь стоит мне,
горько заплачешь о Стояне,
да и меня разжалобишь.

Спой же мне, внучек, спой же мне
песню героя Стояна.
Сердце мое обуглено,
слезы — роса небесная.
Ты запоешь — закапают
слезы отцовские на сердце.
Слушать о нём мне радостно,
слушать о его храбрости.
Ведь не на печке он смерти ждал,
дела страшился правого!

Стоян в бою свою смерть узнал,
встретил врага кровавого
и напоследок убить успел,
пулю последнюю он послал,
песню свою последнюю спел.
Вот ведь какою он смертью пал!

ПИСЬМО

Ты был мне первым другом,
всех лучше был и ближе —
чуть только вспомню детство,
я в нем тебя увижу.

В одни играли игры,
у нас все общим было,
но подошла разлука
и детство отступило.

Ты часто слал мне письма
сквозь расстояний бездну.
Одно из них ночную
напоминало песню!

Я ощущал, читая,
как пламенеет слово,
и слово было близко,
и слово было ново.

«Все время я мечтаю,
мой друг, о встрече нашей.
Ты тоже постарайся,
чтоб в мире стало краше».

Когда б я знал, что скоро
тебя возьмет могила,
то сила этих строчек
меня б сильнее пронзила.

Не раз ослабевал я
в беспомощной обиде,
но силы находились,
чтоб снова к солнцу выйти!

Когда ж, бывало, падал,
от пустяков зависим,
меня спасали строки
твоих суровых писем.

Я не нарушу клятвы
и, у добра на страже,
стараюсь неустанно,
чтоб в мире стало краше.

Ты в памяти не умер,
ты в дружбе оживаешь...
И я тебе поныне
соратник и товарищ!

СОЛНЕЧНАЯ КОЛОННА

В час предрассветный в ночной засаде
волчий отряд...

Треск перестрелки, и громкий отзвук,
и тишина, и ружейный чад.

...Семь мертвых, в Прилеп принесенных,
на главной

площади

лежат.

И весть дурная,

черная птица,

влетела в город, как скорбный крик.

Злобен и страшен

идет убийца

вдоль ближних улиц,

качая штык,

кусает пятки ему булыжник,

в лицо презренье бросает город,

как бунтовщик.

Отец, узнав про гибель сына,

не смог переступить порог,

брат гордый взгляд прощальный кинуть

на мертвого пойти не мог.

Нет!

Месть и горечь свою мужчина
в груди беззвучно затаил!

Но мать смирится ли с горем молча?
Укус змеинный

болью обжег.

Шаль траурную надевая,
пошла на площадь как шальная,
чтобы сказать:

«Прости, сынок!»

А день был мрачен. Курился дождик.
Лежала площадь пуста, тиха,
на ней семь трупов — кровавый ряд.
Над строем мертвых часовые,
цинично их штыки блестят.
И мать, придя на эту площадь,
склонясь над сыном, ушла во мрак.

Но и сквозь мглу, что глаза застлала,
мать зреньем сердца его узнала —
среди мертвых мертвый — юный сын.
И в ужасе ломала руки,
закрыв лицо...
И задрожала, как тростинка,
с глубоким вздохом,

но в горькой муке
грудь не исторгла страданья крик,
лишь взгляд затмило слезою трудной,
как боль, как стон.

И озарило,

как вспышкой молний,
безумной мыслью,
но мыслью чудной.

Нет!

То не он!

И мать тогда глаза открыла,
увидев трупы, и кровь, и грязь.

И, как журавль ширококрылый,
скорбь сердца в небо вознеслась.

Тяжелый камень в сердце тает.
Край новый, чудный видит мать.
Как в сновиденье, сын оживает,
чтоб муку матери унять.

Увидела, что утром рано
до гребня солнечных вершин
идут колонной партизаны
и впереди отважных — сын.

Над ними горный воздух, синь,
в лучах рассвета небо тонет,
и в солнечном сиянье сын
весь устремлен

в орлиный лет.

Родилась песня,

горы в звоне,

восходит солнце,

в строй встает,

шагает солнце

перед колонной.

ВЕСЕННЯЯ ПЕСНЯ

Трава с надеждой потаенной
растет и в стужу,
а по весне, как ключ зеленый,
хлынет наружу.

С тобой, моя земля родная,
связь плодотворна,
в груди, как в поле поспевая,
восходят зерна.

С лозой одною синевою
мы дышим вволю.
С какой надеждой и любовью
смотрю на поле.

Я мосту рад — своей судьбине,
своей работе.
Ты подняла меня, и ныне
я весь в полете.

Во мне сегодня зреет песня,
и песня будет
о родине моей чудесной,
о ее людях.

Не думай, молодость, весною
о горькой доле,
полным-полно голубизною
ржаное поле!

Иди, широкий шаг печатай
и будь высокой,
будь, молодость моя, крылатой,
как сизый сокол!

ВЕСЕЛАЯ ПЕСНЯ

Угрюмые морщины
разгладь на лбу скорей.
Сидеть в холодной комнате
довольно, дуралей!

Долина, легким снегом
покрытая, блестит.
Забудь про все, что душу
томит и тяготит.

А под снежком увидишь
зеленую траву —
поймешь: два сердца встретятся
однажды наяву.

Счастливый день пришел, и ты
его не упусти:
не рассуждай — взмахни крылом
и птицей полети!

УТРО

Я каждое утро здесь прохожу,
где новый строится дом.
Мне радостно видеть новый этаж
в пространстве, вчера пустом.

Шел ночью дождь, и намокли
строительные леса,
и влажен кирпич, и светятся
промытые небеса.

И юный каменщик с высоты
поглядывает на меня,
и я говорю: «С добрым утром, друг!
С рождением нового дня!»

Мне кажется, юный каменщик,
что строишь ты новый дом
не на перекрестке, не на пустыре,
а прямо в сердце моем.

И там, где вчера была немота,
пустырь, поросший тоской,
сегодня — жизни весенний шум,
и смех, и говор людской!

КАРАОРМАН

Караорман и Славей-гора,
два брата, два лютых разбойника.
Караорман — это старший братец,
а Славеем зовется младший.
Превзошли они всех красотою,
силой всех превзошли молодую.
И покуда жива Дебарца равнинная,
и покуда жива Малесия бедная,
и покуда жива вся земля македонская —
славит песня народная людям на радость
красоту этих братьев и храбрость.

Караорман и Славей-гора,
ночь коварная вас обманула,
заманила в пустынное поле.
Когда ноги устали от долгой дороги,
когда плоть притомилась от долгой дороги,
братья спать улеглись в этом поле.
Улеглись, обнялись, как бывало,
натянули одно покрывало.
Звезды мелкие светят над ними,
ветерок им поет, напевает,
напевает и сон навевает.
Но вздыхает Караорман-великан,
и всю ночь ему что-то не спится.

«Брат мой старший, Караорман,
чем, скажи, твое сердце томится,
что всю ночь тебе нынче не спится?»
«Ой, Соловушка, братец мой милый,
у меня две печали, две боли.
Боль — за юность жены ненаглядной,
что проклятым зарублена турком.
Боль — за юность одной партизанки,
что в кровавой загублена битве.
Две любви мне выпало, брат мой,
ни одна не вернется обратно.
Где найду красоту их живую,
где увижу глаза их живые,
где услышу слова их живые?»

«Брат мой старший, Караорман,
ты не мучься тоской этой страшной.
Глянь, как звезды сияют над нами,
эти звезды — глаза их живые.
Слушай плеск родника под камнями,
этот плеск — голоса их живые.
Ты вдохни этих трав ароматы,
ароматы бессмертника, мяты,
это — души их вечно живые».

ОХРИД

1

Ой, глаза открой, роса-дэвица,
ты проснись да глянь вниз на полюшко,
вниз на полюшко раззеленое,
там на полюшке сваты белые —
кони сказочны, сбруи звенчаты,
а для сватанья — песни звончаты.

— Ой, не полюшко там широкое,
поле плавное, раззеленое.

Ой, бурлит волной сине озеро,
сине озеро разъяренное.

Ой, не сваты ждут меня белые,
ой, раскаты волн оголтелые.

Ой, не песня там предвенчальная,
ой, там песня горькая и печальная.

Шуми, озеро, играй, озеро,
лети, чаечка белокрылая,
прилетай, садись на ладонь мою,
на груди моей отогреешься!

Три дня, три ночи — плач и пенье
озерной бури — волны дыбом,
безумных плясок исступленье,
какой восторг, с каким надрывом —
ревет, страдая,
зовет, рыдая!

О, мощь какая! Мне бы, мне бы
в таком восторге захлебнуться!
С таким бы голосом родиться,
чтоб скалы рушились глухие
под колокольный звон стихии!

ДОЙРАН

1

Озеро и небо сини.
Явор у воды — зеленый.
Эй, девушка, ты ли это
под раскидистою кроной?

Красота твоя откуда,
объясни мне бога ради?
Озеро и поднебесье
покоятся в твоём взгляде.

И под взглядом этим синим
душа моя синей станет.
Солнце сквозь твои ресницы
нити шелковые тянет.

2

Увидеть бы мне озеро,
кидающее волны, волны...

Помню песню, оказалось,
неспроста она поется:
колотятся в берег волны —
точно так же сердце бьется.

3

Синие холмы и дали,—
Вот бы все вас увидали!

Камешками побережья
забавлялся бы мальчонка,
зачерпнул воды в ладони
и расхохотался б звонко.

Девушка бы в час заката
подошла к прибрежной кромке,
красавицу поманили
эти синие потемки.

Здесь у озера бы парень
с девушкою повстречались.
Звезды б им светили с неба,
ну а волны бы шептались...

Я еще страдаю. Сердце
грустью, как тисками, сжато.
Озера так и не видел,
молодости нет возврата.

Я стоял под тополями
у воды. Я жил, не зная,
до чего она красива,
сторона моя родная.

4

На простор выходит лодка,
плес колышется озерный,
солнце в волнах, как жемчужин
ослепительные зерна,

Как бы я хотел на память
той, что мне всего дороже,
подарить монисто это,
ожерелье водной дрожи.

Глянь: распахнутые волны,
точно крылья. Вслед за птицей
озеро взмывает с плеском,
ходит ходуном, резвится.

На лету крылом заденет
птица волны в пене белой.
Озеро за птицей прынет
и смеется то и дело.

Но куда там! Птица с криком
тонет в солнечном сиянье.
Озеро угомонилось,
слышно шумное дыханье.

Озеро, не соревнуйся
с легкой птицей в небосводе:
над тобой она смеется,
вьется, кличет на свободе.

6

Хорошо сидеть со старым
рыбаком в часы заката,
чтоб текла беседа чинно
за бутылкою початой.

Кажется, озерной, терпкой
влагой речи его полны.
На широкий лоб морщины
набежали, словно волны.

Это славно, но гораздо
веселей и интересней
с парнем-рыбаком отчалить —
слушать весел плеск и песню.

Солнце душу его жадно
высветило, просквозило.
От его фигуры веет
жизнью, радостью и силой.

7

Скрылось солнце за горами.
Над озером — тень ночная.
Прощай, Дойран: мне в дорогу —
убегаю, убегаю...

За витком виток дорога
вдаль идет по косогорам.
И на озеро я сверху
посмотрел прощальным взором.

И не мог я оторваться
от синего его взгляда.
Воротись, — оно кричало.
Поздно, расставаться надо.

Вспомнил я тогда со вздохом
о девушке синеокой.
Эй, девушка, дай мне руку,
знаешь, как мне одиноко!

Если б ты была со мною,
я бы жил, не зная горя.
Озеро бы, как сегодня,
голубело в твоём взоре.

Стихи
1953

Лирические записи

ЗОВ

Ах, этот день поры осенней
среди позолоченных растений!

Выйди, выйди поскорее,
чтобы вместе прогуляться,
увидать одно и то же,
посмешить и посмеяться.

Мое сердце — как ребенок,
освобожденный от пеленок,
ослепленный, просветленный
этим днем поры осенней
среди позолоченных растений!

ВЕСНА

Ночью я слышал песню,
теплый, далекий звук.
Солнце меня наутро
поцеловало вдруг.

Снова глаза смеются,
сердце унять ли тут?!
С поля ребята впервые
вербовый цвет несут.

Как не припомнить мне муки,
взгляд твой и тонкие руки!

Этой весной прекрасной
вспомни меня, дорогая,
в час, когда золото почек
кожу твою покрывает.

РАВНИНА

Ох, равнина, утром разбужена ранним,
откинь вуаль,
дымку развесь на кустах шиповника,
чтобы увидеть, как тебя гладят долго,
будто ладони, тени от облаков.
Как я хотел душу мою
ковром по тебе расстелить,
как хотел сердце, словно коня,
по тебе пустить иноходью, со ржаньем —
в пыли кувыркаться.

Эх, ты моя печаль!

Ширишься предо мной, как женщина в вожделенье,
с взорами полыхающими, бедрами перетянутыми,
женщина распаленная,
да не мной, да не мной!

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Кто обнимет тебя
детскими руками,
золотыми завитками
приласкает вечером?
Кто споет перед сном
серебристым голосом:
«За окном дует ветер
и луна светит.
За окном шумят листья,
мчится звезд рой.
Я люблю тебя очень,
ты теперь — мой.
За окном роса каплет,
олеандр спит.
Засыпай сладко-сладко,
как дитя спит».

ОТЧАЯНИЕ

День полон пота и пыли,
душно, словно в аду,—
как будто крышкой накрыли
горячую сковороду.

Лишь солнце стоит, сверкая,
под сводом жаркой тюрьмы,
лишь стонут, пламя вдыхая,
синеющие холмы.

Живая мысль не родится
в пекле такого дня,
и даже воспоминаний,
кажется, нет у меня.

И нет человека в мире,
который мне был бы мил.
Жизнь, вот какая ты, значит!
За что ж я тебя любил?

День полон пота и пыли,
ни облачка нет нигде:
должно быть, их растопили
на жаркой сковороде!

МОЛИТВА

Я на нее молюсь издалека,
измученный, в смятенье и тревоге.
О, как прогулка с ней была сладка
по темной, вечеряющей дороге!

Молюсь теперь я в мертвой тишине,
не помышляя больше о свиданье,
на светлый образ, что живет во мне,
даруя мне и радость, и страданье.

Пускай страданье! Все судьбе простишь,
лишь песня бы звучать не уставала!
Но вместо песни ледяная тишь
втекла мне в душу, холодом сковала.

В кровавом мире гаснет, как свеча,
моя любовь, ей места нет на свете.
И стая хищных воронов, крича,
меня, больного, будит на рассвете.

ШОРОХ

Утешься, беспокойная душа,
и не блуждай в темнеющих просторах,
с тоскою глядя вдаль.

Давно листва попадала, шурша,
и если вновь ты здесь услышишь шорох,
знай: то шуршит — печаль.

ОСЕННЕЕ УТРО

Сельский погост заброшенный,
ни креста — лишь могилы безвестные,
а над ними дикая груша —
на ветрах распятая —
плачет каждою веной древесною.
Темно и грязно.
По голому берегу туманы ползут.
Ушли, а за ними
водою наполненный
след
в красноземье оттиснут.

ПОЛНОЧЬ

Крик журавля в бескрайней мгле,
в бескрайней тьме протяжный крик,
крик одинокий —
журавль усталый, на заре
печально крылья сложит он
и завершит свой путь далекий.
В бескрайней тьме протяжный крик
над мертвым городом ночным,
крик одинокий...
Ты задохнешься от тоски,
о сердце бедное, в тот миг,
когда припомнишь этот крик —
над полем, в тьме глубокой
крик птицы одинокой.

МЕЧТА

Я тебя представлю тенью,
ускользнувшей из миров,
всю — из звездного плетенья,
шелка, шелеста ветров.

Ты — в искрящемся полете,
вихре, дымке, ореоле,
ты в краю священном ходишь —
чадо лунного огня,
ты в краю священном ходишь,
как далекий, как прощальный,
как высокий звон, звеня, —
звон, заполнивший меня.

Я тебя представлю тенью,
ускользнувшей из миров,
всю — из звездного плетенья,
шелка, шелеста ветров.

СТИХИ О МАСЛИНАХ

Течет река —
никому не жаль,
что срубили маслины
молчаливые
над водою.

Я помню рассвет:
был час, когда ждешь
неясного чуда
на близкой заре —
но снова
печально блеснули звезды
вверху надо мною..
Лишь ветви маслины,
незаметно придя в движенье,
тихо прошелестели мне в утешенье.

ПРОЩАЛЬНАЯ ПЕСНЯ

Это — ветер с юга,
торопливый шепот, —
он пока что слаб;
по воде весенней —
мрака черный крап,
да тревожной песни с крыш
все кап и кап.

По воде весенней
грустно ходят вести:
«Бедолага-парень! Видно — быть беде:
завтра он уедет, а к его невесте
поспешают сваты по гнилой воде.
К ней зайдут с подарком да со словом лести...»
Слышишь — это воды и весны нахрап,
это — на прощанье с крыш поется песня:
кап, и кап, и кап!

МОЛИТВА

Полночью в лес отправишься
тропкою незаметною.
Темной глубокой полночью
к месту придешь заветному.

Сосны вокруг высокие,
небо вверху молчащее,
травы туманят голову,
словно вино крепчайшее.

Сердце твое наполнится
буйством травы нехоженой,
наземь падешь, растянешься
в мягкой траве некошеной.

Требуется юность — радости,
требуется все напористей —
врачуй меня, о земля моя,
от бед и от горестей!

ЗИМНИЙ ДЕНЬ

Тихо белеют крестьянские крыши,
каштан у забора сутулится.
Мягко по комнатам женщина ходит,
поглядывает на улицу.

Зимнее утро! В тиши твоей солнечной,
в свете твоём утопаю
и долго-долго в разбитой полночи
о шепоте мягком мечтаю.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Вернется человек к родимым берегам,
с страдальческой сумой в свой город
возвратится,
но не найдет уже
того, что оставлял,
не различит любви и ненависти лица.

Пройдется здесь и там, храня на сердце пыл,
с надеждой отыскать след счастья и свободы,
но только мрак падет —
уныл и нелюдим —
стоит он у реки, во тьму несущей воды.

О чем поет волна? О том ли, что за ним
крадется призрак дней неутоленной тенью?
И человек тогда захочет закричать,
заплакать, возроптать,
вспять повернуть течение.

БУРЯ

Как неожиданно приходит буря.
Поле во мраке тонет, бешеный рвется ветер.
Ожиданье. Первая молния вот-вот ослепит сверканьем,
и мы запылаем гневом.
Грохочет гром, раскатистый, грубый,
разъяренный, как наши сердца и души,
потому что в крови утопаем, в крови.
А сможешь ли ты услышать такую песенку тихую,
как цветок, одиноко прижатый к груди,
как сновиденье, в котором витает улыбка застенчивой
девушки,
услышать, как плачет в тебе человеческое —
ты сможешь ли, сможешь?

ПУСТЫНЯ

Голо. Безмолвно. Студено. Уныло.
Солнце не греет, и ночь не черна.
Мне ледяная пустыня постыла,—
Словно проклятье ее тишина.

Все, что дарует мне жизнь, принимаю,
Мне никакая судьба не страшна —
Лишь бы не окаменелость немая,
Не ледяющая кровь тишина.

ПЕСНЯ

Ты не можешь солгать,
мучаясь правдой безгласной,—
всю муку свою и стыд
спрячь в песне неясной.
И если когда-нибудь запоешь
о пустых селах вечерних —
как поезда на бегу, с пеной у рта,
которые сталкивает темнота,—
и если когда-нибудь запоешь
о начале лунной игры
над вершиной черной горы
и о красном луче креста,—
в этой сказке скажется, как велика
души израненная тоска!
Ты не можешь солгать,
мучаясь правдой безгласной,—
всю тяжесть свою и стыд
спрячь в песне неясной,

В КОРЧМЕ

1

Терпкое вин сиянье,
крытый туманом путь,
и голос в ужасе тайном,
хрипящий о чем-нибудь.

2

Скрипка в углу заиграла,
жалобный звук в корчме,
и тишина зарыдала,
словно ребенок во сне.

ПЕСНЯ

Где ты, время, когда песня
уносила к поднебесной?
Не воротишь дней крылатых,
но они вернутся песней.

Чтоб душа не запылилась,
чтоб, устав, не захирела,
чтоб любовь меня хранила
и чтоб в сердце песня пела.

Чтобы в сердце песня пела,
обжигала, словно пламя,
слышанными лишь двоими
сокровенными словами.

СЛУЖБА

Судила мне юность шальная
с тобою быть вместе повсюду.
Прошу об одном лишь тебя я
и больше не требую чуда.

Молю, чтобы ты не ломала
столь необходимую дружбу.
Я, видишь, доволен и малым, —
неужто тяжка эта служба!

ПАМЯТЬ О СЛАВЕЕ

В час перед тем, как этот мир оставить,
тебя б увидел я, высокий Славей,
и золотой ковер на горных склонах,
и переливы трав твоих зеленых;
припомнил бы, как странствовал тогда я,
по этой красоте легко ступая.

И на поляне оказался вроде
не меж цветов,— в девичьем хороводе,
цветы, как малесийки, были стройны,
их красота была лесов достойна.

В час перед тем, как в мир иной уйду я,
я Стругу бы увидел голубую;
в час перед тем, как этот мир покинуть,
я озеру привет пошлю с вершины.

БДЕНИЕ

1

Тихо, а сын так далеко,
Боже, храни свое чадо!
Светится чистое око —
еле мерцает лампада.

То разгорится, то снова —
тенью подернется зыбкой.
Мать не проронит ни слова
пред этой кроткой улыбкой.

В этом притушенном взоре,
в медленном взгляде терпенья
тонет предчувствие горя —
все материнское зренье.

Напоена, обогрета
в свете страданья — до срока,
словно уже она где-то,
где-то — отсюда далеко.

Страх уменьшают заботы,
скорбь не вполне безнадежна.
Встань, отворяя ворота,
«Сын мой»,— скажи ему нежно.

Тихо. Заснула. Истома
сна и покоя провалы.
Снова — стрельба возле дома,
сброшены все покрывала!

Год испытаний бессрочный.
Руки завязаны сзади.
Кто был убит этой ночью?
Жизнь — в чужеземной осаде.

ЛЮБОВЬ

Не подходи — тебе не дам я счастья,
коснусь тебя — но лед в моей крови.
Я весь у невозвратного под властью,
у той, меня покинувшей, любви.
Как посмеяться над остывшей страстью?
Я инеем одет — так не зови
меня, любовь: тебе не дам я счастья.

О НЕЗНАКОМКЕ

Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.

А. Блок

ВОСПОМИНАНИЕ

Мчать за тобой, как за быстрою ланью,
как голубицу рукою ловить
не буду, но буду скрывать тебя в сердце
ласточкою в гнезде.
Буду беречь эту тайную память,
ужасаться ее потерять.

ОДИНОЧЕСТВО

Тихий и мягкий полет шарфа,
черный мгновенный блеск в глазах...
Мое одиночество необратимо
и все же случайно.
Но почему попадает черная молния в сердце,
точно в сучок одинокого дуба?

ТРЕПЕТ

Не подходи, прошу, поодаль стой —
всепобеждающий меня охватывает ужас.
Легки твои шаги, но я страдаю,
как будто сердце под стопой твоею.
В конце дороги этой грусть и осень,
роняющая листья, словно слезы.
Мне внове первая любовь и потому
не подходи, прошу, поодаль стой.

БЕГСТВО

Вблизи тебя я не могу быть счастлив.
Тебя не видеть — выше моих сил.
Понурый, хочу следовать за тобою повсюду.
Ах эта пустая, пустая близость!
Хожу по городу, скитаюсь по полю,
ищу убежища.
Но там трепещет на ветру осина,
сверкая, как твои сверкают плечи.
И я опять стою перед тобой,
стою перед тобой — нет мне счастья.

ЖАЖДА

Как обмираю я, тебя завидев, —
никто не знает, да и не узнает.
Ты скажешь: «Это низменная жажда».
А я скажу: «Так жаждут руки к звездным
пределам прикоснуться».

КРАЖА

Когда б я мог украсть тебя, как змей,
позвав на помощь мрак и ветер.

Да, я бы гадким стал и ненавистным,
презренным — ну и что?

Я был бы счастлив хоть одно мгновенье
от этой кражи дикой, дерзкой.

ЛИК

Понятны мне лица мужчин — в них есть след
дорог и судьбы отпечатки,
и рожи бесовские здесь не секрет,
и нет в бозобразном загадки.
И ключ к ним доступен, и введом язык,
но тяжкая тайна — твой образ и лик.

РОЖЬ

Обычное спокойствие согбенных старушек,
покорность судьбе, смирение.
Неторопливая тихая речь,
губы высохшие, слова
будничные и простые.
А при ветре —
покачиванье головой,
маханье руками,
тихий напев,
молитвенный и глубокий,
грустный, как музыка
летним днем
на маленьком полустанке.

ПШЕНИЦА

Смелая стать девчонок,
их не смущают груди.
В косах цветки синеют,
руки прижаты к телу,
пальцы, однако, жаждут
тайных прикосновений.
Это же хор девчачий
встал на краешке сцены,
замерли мы — волною
песня нас накрывает
с нежностью и с тоскою.

МАК

Это школьницы, первоклассницы,
в майский день на прогулке в поле.
Они за руки еще держатся,
в волосах у них — белые бабочки,
на одной почему-то — красная:
все ее разглядеть стараются
и на цыпочки приподнимаются.
Вьются, вьются белые бабочки,
разлетаются, вновь слетаются,
в хоровод сплетаются девичий
с песней чистою,
с песней звонкою.
А учительница — та березка
в стороне от них,
на полянке,
вдаль куда-то она загляделась,
тихий ветер повеял
грустью.

ЗЕМЛЯНИКА

Красные, красные губы земли,
ее поцелуй румяные!
Накинсья, как дикий, на эти поляны,
целуя, целуя, целуя,
пока не почувствуешь оком туманным,
что вся ее нега прильнула к тебе
и сладостной тайной исходит.

ВЕСЕННИМ ВЕЧЕРОМ

Вечером в десять,
в необычное время
в Скопле все петухи посходили с ума:
орут, переча друг другу,
пение их будоражит округу,
из темных дворов долетает их писк
в небесные терема.

Эх, разбудили всех,
стала окрестность тесна.
— Что за порядки — после заката солнца,
чтобы весь город лишали сна
какие-то петухи-одноженцы?

А, ну теперь-то ясно,
почему кукарекают страстно!

Во дворе небесном,
высоком, чудесном,
вышла курица в золоте чистом,
переливающаяся, горящая,
гордо себя носящая
по коврам шелковистым,
золотые зерна клюющая,
в небесных странах живущая.

Эй, кукареку!

Эй, кукареку!

Разносятся хором нестройным
мужские крики и вопли.

Светло на небе спокойном,
петухи-горемыки в Скопле.

КУМАНОВСКИЙ ПЕРЕВАЛ

Когда зреет пшеница в окрестностях Скопле
и рожь умолкает в надгробной печали,
здесь море огромное волны качает,
и плавную ширь, и глубинную песню;
под ними — душа моя, грустная, теплая —
над ней набегают волна за волною,
и море пшеничное, море ржаное
напевает: плыви, уплывай, уплывай!

СТИХИ О ФАУСТЕ

ПРОГУЛКА

Не только мысль, не только провал,
а — пчелы, роса и небес игра!
Но, Фауст, ты уже погулял,
назад собирайся! Пора, пора.

ИСКУШЕНИЕ

— Ты хочешь небо из черных глаз?
Скажи — я могу тебе подарить.
— Оставь меня, дьявол, я должен сейчас
о яте, ери, ер говорить.

ОЖИДАНИЕ

Весна. И улица. И погашен свет.
Десять лет как душа твоя ждет.
Но — нет, и нет, и еще раз нет,
Маргарита здесь не пройдет.

ОБИДЫ

Если бы мог позабыть я
три обиды, судьбой нанесенные,—
как легко мне жилось бы на свете!
Но присутствие их постоянно,
и не спят они даже во сне,
и все проходит сквозь них, очищаясь
привкусом горечи тихой.

ИКОНА

Взглядов моих не надо стыдиться,
в них целомудрия грустная верность:
глаза мои — только художники скромные,
мастера они кроткие родом из Гари,
пораженные ликом твоим чудотворным:
оклад золоченый куют они вечно,
твое обрамляя святое сиянье.

ГОРЛИЦА

Горлица —
гортанная речь о страсти и о печали,
Горлица —
черное вокруг горла объятье,
Горлица —
горение, чтоб крылом обласкали,
Горлица —
горечь о возлюбленном и о брате,

АНГЕЛ СВЯТОЙ СОФИИ

Ты, задыхавшийся в угрюмой
стене под известью и мелом,
в пространстве вновь витаешь смело,
о, светлый отрок светлой думы —
опять во взгляде жизнь и нега,
и свод сияет, словно небо.
Но образ тот, что мною скрыт
под штукатуркою грудною, —
в дни молодые он когда-то
казался мне твоей сестрою —
его спасти не сможет мастер,
с моею жизнью он погаснет.

КАЛЕМЕГДАН¹

Люблю прийти и постоять над Савой,
когда в прохладных сумерках, в тиши
с рекой неспешной, стройной, величавой
во всем созвучна музыка души.

Спускался я сюда с Калемегдана
по лестнице, под старый влажный свод,
чтоб в этот час вечернего тумана
прислушаться к журчанью вечных вод.

Но сколько лет с того промчалось лета,
когда впервые к ним спустился я?
Текла река, и я не знал, что это
течет куда-то молодость моя.

И вот опять я здесь. И почему-то,
подставив лоб вечернему лучу,
ступаю тихо-тихо, так, как будто
подслушать тайну некую хочу.

И шепот волн — как песня без названья,
и с ним шаги сливаются, легки,
и, как волна, мое существованье
сливается с течением реки.

¹ Калемегдан — крепость в Белграде при впадении Савы в Дунай.

Я сам — волна, которая струится
и медлит, и у бездны на краю
все так же блещет, плещет и стремится
и помнит сущность вечную свою.

Вокруг меня — пустынно и дремотно,
свои шаги я слышу, как во сне.
Я — как волна из капель, сжатых плотно,
тону, как песня тонет в тишине.

Я, как волна, взбираюсь вверх — и страстно
целую берега мои, любя.
О время, ведь и ты — волнообразно,
и нет во мне обиды на тебя.

Я к твоему прислушиваюсь гулу,
и не к лицу мне жалкие слова.
Не говорю: ты, молодость, минула,
но говорю: ты, молодость, жива.

И лишь на миг меня печаль наполнит:
среди всего, что в памяти живет,
ничто тебя так ярко не напомнит,
как тихий шепот этих вечных вод.

СКОПЛЕ

Ты, кто встанет на Газибабе¹,
мой потомок, меня услышь:
отсюда я тоже смотрел на Скопле,
а день был весенний, а день был теплый,
такой, что сплетались в мягкий узор
свежие линии крыш.
Бил зеленым фонтаном тополь.
Взор мой был слегка затуманен
(почему — промолчу),
но зорек.
Знай,
я чувствовал, мой призыв
был как в будущее бросок,
был объятием с духом твоим,
был похож на острую молнию,
рассекал он за веком век,
призывал, окликал, ревел:
обо мне помни!..

¹ Газибаба — холм в Скопле.

Бунт Карпоша

В 1689 году Карпош поднял
против бегов Кумановский край.

Пламя полночь озарило,
бьет набат, и ружья бьют —
народ, вставай,
рать собирай,
бунт начинай,
бунт!

Карпош сходит с Карадага,
из села в село идет,
и идет с ним вихрь-гуляка,
во поле хлеба трясет.

Народ, вставай,
рать собирай,
поднимайся, беднота,
голода,
босота!

Хватайте ружья
и все, что нужно,
кто что, кто — посох,
кто серпы, кто косы,
бейте бегово племя,
пусть навеки сгинет,

засохнет в пустыне
их сучье семя!
Залезли в крепость гады
и жены их и чада?
Вас вырежем, как стадо,
не будет вам пощады!

Идет кровавый Иеремия,
в деснице саблю сжал разящую,
а в шуйце — головню горящую.
И беспощадны руки,
что мстят за муки!

Заря розовеет —
и вот спешат,
страшные в гневе,
за сватом сват,
жди их, кумановский град,
ворота твои затрещат,
амбары открой скорей,
Карпош ведет гостей.

Бунт Карпоша —
крестьянское веселье,
кровавое вино,
кровавое похмелье,
кровь по дорогам льется,
и песня вслед несется:
отнимем все равно
власть у царя и короля,
и будет нашею земля!
Идут прямиком,
а на дереве сухом,
на суку высоком,
Зия-бег висит,

на плече его сидит
ворон, а не сокол.

Зия
хуже змия,
виси, распятый,
будь же ты проклят,
потрох сучий,
за то, что нас мучал,
за всякую подать,
за труд без платы.

Слышен их шаг...
В крови их стяг,
ружья бьют —
народ, вставай,
рать собирай,
бунт начинай,
бунт!

Можалом и жалом

ВОСПОМИНАНИЕ

Что в прошлом помню? Белые туманы,
невзрачные осенние поля.
Наш мокрый поезд мчался вдаль, крича.
Убогие деревни убегали.
Холмы тонули в сумерках глухих.

О, этот вечер, плачущий и грязный!
Дорожный горький чад наполнил грудь.
И болью за Отчизну неотвязной
отмечен был мой путь.

Как было не страдать, когда кругом —
унылое убожество лавчонок,
штаны в заплатках, грязные передники,
в глазах крестьянских замерший испуг,
и руки в трещинах, и шеи в стружьях,
а головы — опущены всегда?

А те, упрямые парни,
выбравшие борьбу,
падали на перекрестках,
растоптаны и оплеваны,
с дыркой в груди, во лбу.

Падали и сгорали,
разделив метеоров
жертвенную судьбу...
Так мчался, крича, мой поезд,
казалось, что это мука
кричала во мне: как страшно
родиться в народе растоптанном!

Так что же вновь сегодня возвращает
меня в те дни? Ответить не смогу!
Прошли года, но в сердце до сих пор
плывут все те же белые туманы,
все так же деревянные подметки
стучат, стучат по мокрым мостовым...

ДИАЛОГ В ПОЛНОЧЬ

(Мысли в постели)

Что-то случилось с миром,
волосы стали дыбом!
Жизни для нас,
людей достаточных,
семейных, порядочных,
нету сейчас.

Добро наживал,
радел о достатке,
бочки вином наполнял,
брынзой — кадки,
в амбар засыпал муку,
мясо вялил, привязывая к крюку,
думал, прожить смогу
долгий век,
ведь порядочный человек.

Зарезал борова,
наделал колбас,
спасибо господу,
не обидел нас —
борова стало
на три ведра сала.
Фасоль, картофель —
всего вдоволь,
я тебя, нищета,
не боюсь ни черта!

И сыта ребятня,
и велик излишек,
стали жить у меня
соседские мыши.

Ждали воли,
воля пришла,
пей вина вволю,
песню пой,
какая мила.

Чего желали — наживали,
все в порядке и в достатке.
Но собаки
стали бунтовать,
враждовать,
из-за этой драки
людям бедовать.

Что-то случилось с миром,
волосы стали дыбом!
Не один припрятал грош...
А теперь со страху
громко не чихнешь.

Ни вино, ни жратва
нынче не в радость:
по ночам стрельба,
спать не пытаюсь —
жена чуть жива,
сам дрожу, как заяц.

Видать, не миновать беды,
не спросят, виноват ли ты,
завоет у ворот медведь:
добра набрал неупроорот,
чтоб завтра помереть.

(На улице непогода, в сумасшедшей мгле
ничего не разберешь, ветер воет, а вдруг
возьмет и утешит.)

Вокруг неистовствует темень,
деревья вырывает прочь,
повсюду ветер, дождь и темень,
вздыхает, брошенная всеми
тяжелораненая ночь.

Но бояться не надо,
высока ограда,
закрыты ворота,
в кровати, закутавшись
в два одеяла,
не затыкай уши —
плачь о тех, кто снаружи,
о тех, кто знаком со смертью,
о тех, смерть кого избрала.

Ты в своем доме,
как у Ноя в ковчеге:
кипит кровавая пена снаружи,
но она его не разрушит,
иначе кончится жизнь
навек.

Вокруг неистовствует темень,
деревья вырывает прочь,
повсюду ветер, дождь и темень,
вздыхает, брошенная всеми
тяжелораненая ночь.

ИГРА С РЕБЕНКОМ

Моей дочери

1

Дай-ка мне свои ручки,
собери свои пальчики,
начинается игра,
простенькая, старая,
но довольно озорная.

Стук, стук!
Кто там?
Стоян.
Чего ему надо?
Огня.
Войди,
возьми.

Ты — чертенок, ты запрятала щенка,
и серебряной улыбкой ты серебряно лукавишь
и смеешься, как ручей.

А у меня опять — с чего бы это вдруг? —
перед воротами души
тень замирает,
и кто-то пальцами холодными стучит:

Стук, стук?!
Кто там?
Печаль.
Войди.

Мне тоскливо, что серость падает на меня,
словно пепельный плащ,
несмотря на воспоминания о твоих
младенческих играх,
мой ребенок!

Не я ли, единственный их свидетель,
совершил чудовищное предательство:
оказался не в силах сберечь единственное,
что ты потребуешь тайным чувством,
что я потребую — в горькой жажде.

О безрассудный растратчик!
Ты еженощно клад зарываешь в землю,
а днем забываешь, куда он делся.
Воспоминанье, словно костер рождественских
ряженных:

брошен под утро,
снегом покрылся,
пламя шипит, угасает,
и головешка на память.

Куда же он делся, первый блеск
первого зуба?
И где этот голос
первого сладкого бормотанья?
Вспомнил! Вспомнил!
Но отчего я внезапно вижу
утром весенним
у нас во дворе
двух горлинок на абрикосовом дереве?

Ничего.

Так.

Родная, ты смеешься серебряно,
ты смеешься, словно ручей:
смех струится по чистому руслу,
по зеленым травинкам,
напевает смешную песенку,
щекочет веселой считалкой —
о пальчиках
на ножках.

Мизинец — зернышко,
рядом с ним — боб,
рядом с ним — виноградинка,
рядом с ней — орешек,
рядом с ним — ягодка,
воробей клюнул,
утка съела!

Ты прячешь свой хитрый пальчик —
ему щекотно и весело:
он знает — как тогда, упоительно! —
выглянет, словно мышонок,
из разорванного чулочка.
А я поймаю его.
Ты смеешься серебряно,
ты смеешься, словно ручей.

Глаза, глаза моего ребенка!
Я с вами — радуюсь,
а с собою — печалюсь.
Игра простая, как у зверюшек!
Где этот вечный мир льва,
который разлиновали тени решеток,
но улыбка которого так широка,

а взор так спокоен и мудр,
пока он глядит на своих детей,
играющих львиным его хвостом.

Мой милый ребенок!

Ты боготворишь своего большого отца.

А я —

когда вижу тень на твоём лице
от чужого взгляда,
трепет, который считал я только своим, —
я в испуге:
пусть минует тебя эта чаша
до какой-то поры,
до какого-то мига,
пусть минует тебя то, что я пережил.

Перед воротами души

останавливается кто-то,

стучится

и спрашивает:

способно ли сердце, эта хлебная кроха,

кого-то насытить,

способна ли эта хрупкая крыша

кого-нибудь защитить?

3

Мой милый ребенок!

Твой отец — участник невидимых битв,

ты — всего лишь верный однополчанин,

лишь один.

Ты следишь за всей его силой.

И если погибну в отваге дня,

тебе, дитя, со всей твоей крохотной силой

придется выпрямиться — и только.

Потому что дитя — это прекрасно и гордо!

Все тягостное и мрачное в этой жизни
у меня вызывает отеческую улыбку
и вдобавок судорогу тревоги,
у тебя — ужасающее доверие,
мой ребенок, давай обнимемся,
не сердись, что так больно сжимаю тебя!
В этой игре участвуют оба:
пусть обнимутся крепче радость и грусть.

Вышла в свет

1955

СТИХИ

Неуч, я думал:
с чем-то случайным
их появление связано.
Только сейчас, оглянувшись,
вижу:
это моя обязанность.

ВЫШИВАЛЬЩИЦА

1

Как, вышивальщица, вышить словами
песню, звучащую просто и строго,
сердцу вот этому, что так ночами
мучится в невыносимой тревоге?

Нити из сердца возьми две, сплетая
траурно-черную с ниткою красной,
первая нить — то печаль твоя злая,
светит вторая — мечтой твоей страстной.

Ты вышивай так и красным и черным
песню единую грезы и муки,
как рукава с вышиваньем узорным
юной невесте на белые руки.

Видно, от века два цвета нарочно
связаны силой одной роковой,
черный во мрак погружает полночный,
красный же — кровью цветет заревою.

Глянь, вышивальщица, в шири небесной
небо зарей золотой расцветает:
на голубом полотне так чудесно
вышивка яркая эта сверкает.

Вечером ты не заметишь заката,
взгляд у тебя как у трепетной серны.
В небе, расшитом так ярко, богато,
два твои цвета пылают, наверно.

Иль не боишься, что меркнет пред ними
самое светлое воспоминанье?
Что ж ты задумалась, глаз не поднимешь,
день твой угаснет, гласит прорицанье.

Память о светлом, сиявшем чудесно,
гаснет пред ними, как цветик, бледнея.
Ты уловил звуки дивные песни
и о судьбе своей спел вместе с нею.

ГРИГОР ПРЛИЧЕВ¹

1. НОЖ

Вот сердце, для которого повсюду
нож точат — и уже вонзили.
И лезвие мне в грудь вросло, пустило
меж ребер корни — тонкие прожилки.
Мне стоит только засмеяться — боль
напомнит: нож в груди укоренился.
И вновь передо мной моя беда:
один за свой народ — поскольку выбор
пал на меня — я должен молчаливо
и мужественно выстрадать всю грусть
и раболепье целого народа.
Я меченый, на мне паленый знак.
Мое избранничество, какова
цена грядущих подвигов, и сколько
победы стоят? Как они двуличны!
Скользя, идти по подлости — мученье.
Но, братья, есть и тайные причины
для мрачного молчанья моего.

2. ПУТНИК

Суровый малый нерв, я угасаю,
бреду, как по кладбищенской плите.
С петринским я прощаюсь виноградом,
предчувствующим терпкое вино,

¹ Прличев Григор (1830—1893) — деятель национального македонского возрождения, поэт.

с понурой, черной, пережившей сына
согбенной матерью прощаюсь — с богом.
Но вам, безродные в домах богатых,
где затхло дышат крепкие шкафы,
я, меланхолик, был всегда чужим.
Что проку в моей жизни торгашам!
Я вас тревожил. Так мешает спать
стук путника полночного в ворота.
Вы, злые, равнодушные, меня
прочь гнали, и теперь могилы ваши
прочь гонят скромную мою могилу.
Я буду ненавистным и чужим
и под землей. Но будущее племя
воздаст сполна мне славы и любви.

СНЕГ

У ворот кружится снег,
засыпая все тропинки.
Медленно, как на картинке,
гибнут, падая, снежинки —
краток их летучий век.

Монотонно шепчет снег,
расставаясь с высотой:
«Сам-один, с душой пустою,
пред судом последним стоя,
что ты скажешь, человек?»

И обратно, до крыльца,
топчут вновь мои ботинки
те же мертвые снежинки,
надоевшие тропинки...
Так уж, видно, — до конца.

ЗВЕЗДЫ

Помню, вы об этом как-то говорили,
но уже не помню, что и как там было,
и теперь об этом вспоминать напрасно,—
мглою горизонты памяти накрыло.

Только было это в Раеце за полночь,
скрип телег проезжих, пыльная дорога,
и сверкали звезды, и сверчки звенели,
словно умолая боль унять немного.

Было небо в звездах. Думал я, что слово
тайное во мне звенит порою лунной.
Но теперь об этом вспоминать напрасно,—
почему же память пробуждают струны?

Вспоминаю только тиквешкийский говор
возчиков, бредущих пыльною дорогой,
да звучит негромко в Раеце сверчанье,
словно умолая боль унять немного.

РОЗА

Роза с лепестками мягкими, как губы,
слежу я, как цветешь ты на лужайке,
слежу украдкой, моя красавица,
не приближаясь, не приближаясь.

Роза, хочу я услышать в тишине
твой румяный звук из глубины бутона,
роза, я хочу и приду под вечер,
я приду под вечер и тайком дотронусь.

ЗАСЫПАНИЕ

Ты засыпаешь очень рано,
когда еще пылает тело,
твой сон счастливый, как ни странно,
корит мне душу то и дело!

Прости, картина сна наивна
и целомудрием согрета,
и словно с яблони срываешь
ты зрелый плод в разгаре лета.

Но чем воздать тебе за благо?
И жажда жжет, и мучит голод,
и умеряет страсть к общенью
всё приближающийся холод.

ВИЙ

В сознании, как в полуночном храме,
тебя замкнул я. Бледною свечою
ты гаснешь, и святые похотливо
следят из полумрака за тобою.
Ты узница моя, из-за которой
творю я заклинанья непрестанно,
и наступает час уже урочный,
и все гласит о том, что я предстану.
Иду я так же, как и грозный Вий
с глазами долу. Как земля я жажду,
да, страшен я, но оттого, что нежность
моя сурова, ты бледна все так же.
Как нежный Вий иду я, но по кругу
тобою тайная проложена черта,
где бездна разверзается внезапно
и каменная сыплется плита.
И жаждущим песком я сыплюсь тоже
в нее, и вихрем свечи погасило.
Я Вий, я заключил тебя в сознанье,
но, жаждущий, достичь тебя не в силах.

ЧАЙКА

Это, далекая и молодая,
ты, что для муки мне послана роком,
ты, от которой я тайно страдаю,
ты, с кем не встретиться мне ненароком.
Будешь страдать, как и я, наши души
ищут друг друга над синей волною,
но не найдут и не станут крылами
чайки, летящей над морем весною.

НЕЖНОСТЬ

Только ты когда во сне лишь
подойдешь — и я утешен,
только ты сказать сумеешь,
как я тих и как я нежен.

Этот сон не утоление
долго мучающей жажды.
Тень твою в миг пробужденья
не задел ли я однажды?

И в томленье одиноком
мне впервые сила в тягость —
вдруг обижу ненароком,
отпугну навеки радость.

РАЗЛУКА

Прошу, приди, родная,
подобна дуновенью,
чтоб знал: жива ты, близко,
не призрак, схожий с тенью.

Но, чтобы стать столь чистой
картиной сна иль рая,
ушла, меня коснувшись,
касаньем озаря.

Я понял, что разлука
знать истину научит —
нет, не было то явью,
что наяву так мучит.

НА ТАНЦАХ

Несколько тел с юной силою спелой,
каждое стоит вечности целой;
остро внимают тайному зову,
тайному звуку, сердцу — не слову,
этот приказ гонит в ночь, в непогоду,
чтобы спешил я туда, где нет ходу,
в грязной ночи, где летит ветер, воя,
брел бы и брел, не зная покоя,
чтобы страдал, засыпал на ходу я,
славивший кровь молодую, колдуя.

КОШМАР

Как грустно бывает заснуть одному
и помнить ночные горячие всплески.
Привычную грусть я послушно приму.
Но только к чему в ослепительном блеске
был весь этот гомон веселья роскошного?
Зачем оживают желанья и кротость
взглядов и слов,
на миг долетая из прошлого?
Зачем же, зачем?
И ты все прохладней
при встречах нечаянных.
Продрогшего,
все крепче больная душа меня кутает в холод,—
он лют,
и в нем, как в бреду,
я злобен и груб.
И снова меня окружает тоска.
И чья-то сухая в ночи меня душит рука.
Ни скрыться, ни выбраться, ни позабыть,—
в кошмаре тонуть мне, в безвременье плыть.
А сердце так хочет любить.
Хочет любить.

ПЕСНЯ

Что ж я один туда воротился,
где мы с тобой вдвоем лишь бывали?

Красное облако в небе запнулось,
первая тень вдруг в поле упала.

Дышит спокойно река средь низины,
и в тишине затихает дорога.

То, что, далекая, здесь ощущаю,
сумрачный, странный покой навевает.

Ты — словно тихая-тихая песня,
песня, которую я только знаю.

Что ж я один туда воротился,
где мы с тобой вдвоем лишь бывали?

ТИШИНА

Что-то очень есть простое —
споконьятия щедроты,
что-то тихое есть в мире —
высоты, ах, высоты.

В синеве утонешь неба,
и пропадет усталость,
ты глаза закрой, закрой же,
ты отдохни хоть малость.

Каждой птице, каждой птице
так нужен миг покоя.
Крылья ты сложи устало,
замри, как все живое.

Ах, к чему, зачем вся спешка
и суеты мельканье?
Что-то очень есть простое —
быть может, засыпанье.

ВЕСНА

Очищается мутное око неба,
солнечный взор мерещится еле.
Осенние зерна моих желаний
под снегом, жалкие, зазеленели.

ТАЙНА

Открой мне тайну свою сокровенную,
хотя бы мельчайшую, обыкновенную,
не бойся, она, как в могилу, канет —
песней пока не станет.

СМЕХ

Я смех потерял и лишился покоя,
мне надо из будней смех вызволить заново.
Гортань моя нынче, как русло сухое
оврага песчаного.

СЕТЬ

Что мной сделано к тридцатилетью?—
Каждый год, как разбитый кувшин.
Я ребенок, опутанный сетью
Тридцатилетних морщин.

РЕКА

Вверх по реке. В грудь колотятся волны!
Тешится тело силой большою,
и мускулистая плоть хороша!
Вниз по теченью плыву я отныне:
плавная легкость владеет душою,
как помягчала душа!

ЗДРАВИЦА

За вас! И, наполнившись красным вином,
бокалы со звоном целуются снова.
Искрятся улыбки. Мы искренни будем,
как эти улыбки. Даю себе слово
проклясть свое сердце, забудь оно вдруг,
что отдано в дар вам. Так будьте здоровы!

С ПОЕЗДА

Вот он, простор моих детских волнений,
дней голубых, голубых откровений.
Плачут по мне эти синие горы!

На склонах — село со знакомой тропинкой.
Не машет ли кто-нибудь белой косынкой?
Плачут по мне эти синие горы!

Мимо проносится поезд мой скорый.
Жил-был здесь когда-то ребенок, который...
Плачут по мне эти синие горы!

В мыслях сюда возвращаюсь незримо.
Но поезд судьбы моей катится мимо.
Плачут по мне эти синие горы!

СТАРУХА

Днем над прялкой говорит немые речи.
У ворот среди подруг сидит под вечер.
Кротко дышит темнота над переулком.

Мир смолкает, тишина стоит в округе.
Вот одна она, домой ушли подруги.
Кротко дышит темнота над переулком.

Мрак сгущается, качается пред взором.
Ждет она: шагам внимает, близким, скорым.
Кротко дышит темнота над переулком.

Доброй вести ждет душа ее живая,
каждый вечер ждет и ждет, не уставая.
Кротко дышит темнота над переулком.

В дом давно пора, а ей все неохота.
«Добрый вечер» — скрипнут старые ворота.
Кротко дышит темнота над переулком.

ОТДЫХ

Пора листопада и светлой печали.
Все тянет в какие-то дальние дали.
О ты, красота, мне уже надоела!

Шагаю вдоль тихой осенней дороги.
Порою мы больше, чем есть, одиноки.
О ты, красота, мне уже надоела.

Спокойствие мудро, а страсть глуповата.
Сажусь на скамью посреди листопада.
О ты, красота, мне уже надоела.

Во рту сигарета спокойно дымится.
Жду вечера — он не замедлит явиться.
О ты, красота, мне уже надоела!

УТРО

Утренние посетители парка,
вы немного с причудами, видно,
вы, наверно, слегка одержимы!
Ухватить бы локон этой паутины,
удержать бы трепет солнечного блика
на былинке,
вот предугадать бы
бабочки белой перелеты!
Утренние посетители парка,
это наши мысли, ведь не так ли?

ДУБ

Засохнет скоро этот древний дуб,
и плющ необходим ему, который
обвитьем сочным украшал бы ствол
и сладко щекотал кору сухую;
зато он рост высокий даст плющу
и кругозор широкий и далекий
и заодно подарит смерть вдвоем.

СТВОЛ

Павшие листья кличут
тех, кто еще трепещет
на ветках и ждет со страхом
неведомый миг паденья:
— Идите, погибнем вместе,
спешите от ветра укрыться
там, в тишине подземной.
Пусть он останется голым,
обугленный и корявый,
пусть он вдаль простирает
черные свои руки,
пусть тело его разбухнет
от долгих дождей осенних.
А мы густо вокруг поляжем,
чтоб не мог он выйти из круга
золотых своих воспоминаний.

ЛАСТОЧКИ

На рассвете щебечут ласточки,
птицы, ночь ото дня отделившие,
челноки мы,— щебечут,— быстрые,
пряжу тайны неясную ткущие,
время сумерек — наша стихия,
и все то, что на миг прикасается к этой границе.
Посмотрите, как ищем мы стык меж водою
и воздухом,
но на небе
не осталось следа никакого от нашей работы.
Так кричат на рассвете ласточки.

ПАСЕЧНИК

Только подумать мне стоит, что мог бы
жизнь провести я на пасеке мирно,
что пчеловодство — мое назначенье,
мятой запахнет осенней,
издали слышу я зов полусонный,
песню забытого сельского детства,
где затихает встревоженный улей:
«Мать моя, мати...» —
и наяву различаю, как рядом
рой на маслину садится гудящий,
весь позолоченный солнцем вечерним.
Вот она где, моя верная песня!

УГОЛЬ

Стоит зажмуриться,
из глубины поднимается темень:
глаз лишены, изможденные старцы
множатся передо мною,
молча ко мне приближая
лбы свои в строгих морщинах.
Если я веки сожму посильнее,
то чернота на скалу громоздится,
перерастает меня с головою
и накрывает,
с лязгом в свою поглощая утробу,
и погружаюсь
в рудник я подземный
черною горсткой, которая шепчет:
«Буду гореть я!»

ШТИП¹

Два склона, хмуро глядящие,
злая усмешка студеная,
сухость скалы полуденной.
Не говорите мне только о ветхих лачугах внизу,
ставших трухою,
расскажите мне лучше о нежной любви,
здесь гостившей когда-то.

¹ Ш т и п — город в Македонии в гористой местности.

РЕБЕНОК,
УСНУВШИЙ НА БЕРЕГУ ОЗЕРА

Ты, маленький, спишь,
а озеро думает думу,
и в думах его вершится твоя судьба.
Ты спишь, а оно
проникает сейчас в твою душу,
как в залив,
где камешек каждый
отчетливо виден на дне.
Ты спишь,
а в его
в этот час неprimетной
волне
вызревают уже те валы,
что родятся однажды,
и заплачут,
и тебя на себе понесут.
Спи, дитя,
это озеро
душу твою сейчас лепит
и все думает думу
о грядущих тревогах твоих.

БОЛЬНОЙ ДОЙЧИН¹

Когда я в силе был и эта сила
несла меня, как паводок весною,
и силы той для подвига хватило,
и чувствовал, что славы я достоин,
что голос мой для истины окреп,
рука окрепла для тяжелого меча,
нога окрепла для нелегкого похода,
тогда я надломился и упал,
как дерево, не выдержавши плода.

Тень хитрая меня подстерегла
и, как змея в могилу, в мозг залезла,
и сглазила, печалью увлекла,
чтоб медлил и осматривался трезво.
Я чувствовал, что мелок и смешон,
и тело ослабело вскоре,
длань высохла,
меч выпал из ножен,
и слег я в хвори.

И вот уже хвораю девять лет
и девять изорвал постелей.
Как будто бы во мне суставов нет,
я на земле распят; я еле-еле

¹ Дойчин — персонаж эпических песен южных славян, добрый богатырь.

дышу на солнцепеке — жив едва,
и кость во мне отделена от кости,
и прорастает сквозь меня трава,
и змеи в той траве шипят от злости.
Хочу могилы темной и сырой,
но только подвиг даст мне тот покой.

Ты — незнакомая единственная женщина,
сестра и мать, которая страдала,
которая страданьем изувечена,
иди сюда и собери сначала
все мои кости, хоть смердят они,
в холст из трехсот локтей их заверни,
и тихое скажи мне слово,
и на ноги поставь, чтоб мог стоять,
учи ходить, как научила мать,
вели, чтоб меч взял в руки снова
и Черного Арапина убил.

И чтобы умер.

ЗОЛУШКА

Я невольно подумал сейчас о мечтах сироты
деревенской,
мачехой гонимой. Обездоленная Золушка.
Мама моя, как далеко до тебя и как близко!

Я вскормлен молоком материнским среди поля
под тенью вяза,
среди жатвы под тенью стога.
Мама моя, как далеко до тебя и как близко!

Я ношу тебя так же под сердцем, как меня
ты носила,
и храню этот чистый глоток деревенского
нашего воздуха,
чтобы боль не утихла.
Мама моя, как далеко до тебя и как близко!

ЛЮБОВЬ

Сухое копьё они мне воткнули в сердце
и там закрепляли тщательно и усердно.
Потом сказали мне: «Жди,
покуда зазеленеет!»

ВОЛК

Псы беспокойно ушами задергали
и заскулили.

Собаки охотничьи когтями забили
по льду, освещаемому луной.

Где-то поблизости ходит коварно
призрак волка любви.

Кто-то крикнул:

«Ату его, вот он, ему не уйти!»

Встал, запыхавшийся от погони,
чтобы дыхание перевести.

Далеко разносится завыванье:

ау, ауу, аууу!

Это значит: я вновь зайду.

Это — история обычной ночи
в замерзшей чаще моей души.

ВЛЮБЛЕННЫЕ ДЕВУШКИ

Лица их нежные, потаенные,
словно тени прозрачных листьев их осеняют
и овал удлиняют неуволимо.

Глаза их расширенные, задумавшиеся, влажные,
словно испуганные всем непредвиденным
и посторонним.

Они чело так легко наклоняют,
чтобы губы возлюбленного к нему прикоснулись,
и тогда они кажутся крыльями бабочек,
замирающих на траве, прежде чем вспорхнуть,
улетая,

и трава поникает.

И тогда они в объятье простирают руки
так отчаянно смело, слепо, неотвратимо,
будто весла в бушующем море,
перед которым невольно мы глаза закрываем.

Господи, неужели и в самом деле пережил я это
когда-то?

КРАСИВЫЕ ЖЕНЩИНЫ

Красивые женщины из моего народа
отцветали быстро,
как цветок абрикоса,
как сирень в мае.
О, несправедливость!
Случайным мужчинам они доставались;
их волосы, днем заплетенные в косы,
ночью спускались до самых бедер.
Их птичью походку
рано смирял тесный передник.
Их молодость покидала,
как запах липы, уносимый ветром.
Они усаживались у ворот
с опущенной головой, с коленями
отяжелевшими,
с неслышным вздохом.
Красивые женщины, несчастные женщины
отцветали быстро,
как цвет абрикоса,
как сирень в мае.

РЕКИ

Дал рекам течь я, ибо мыслят реки
и, мутные, сказать сумеют вслух
то, что не смог бы выразить вовеки
в отчетливых словах мой пленный дух.

ТОРЕАДОР

Я верил в слово доброе и дело,
я ждал любви, ждал друга — не врага.
Бык, ненависть, довольно, надоело
держать тебя, напрягшись, за рога.

Порой боюсь я, что вот-вот устану,
наступит оцепение души.
Но если вдруг я на колени встану —
бык, ненависть, топчи меня, круши!

ПОЛНОЧЬ

Щелкает выключатель.
Комнату заливает немилосердный свет.
Спит ребенок в кроватке.
У его лица — кукла,
только она замечает опасность
и отчаянно поднимает руки,
замирая от страха.
Она так отчаянно поднимает руки,
хотя в дверях — один лишь беспомощный
человек
с руками, опущенными виновато,
с головою повинной,
хотя он пришел, чтобы поцеловать ребенка.

ПРИСКАЗКА

Когда человек потеряет право смеяться,
и право быть умным,
и право судить по правде,
любить ребенка и женщину
потеряет право —
тогда ему остается
право
в тоске пребывать неподдельной,
умирать от муки смертельной,
грустным быть до скончания века —
право этого человека.

ПРОЩАНИЕ С ПАРИЖЕМ

Я прошелся рукой по шершавой коже стены
и сказал: «Бог с тобой, умирай помедленнее».
Я коснулся ладонью ограды парка
и сказал: «Бог с тобой, умирай помедленнее».

Я погладил, будто случайно, кудри самшита
и сказал: «Бог с тобой, умирай помедленнее».
Я возвел глаза к ослепительно синему небу
и сказал: «Бог с тобой, пропадай помедленнее»,
а я сохраню о тебе память.

АСКЕТЫ

Ни слова о тупо болящей лодыжке!
Лишь смерть над нагими склонялась телами.
В безмирье не ведали вы передышки,
отшельники чувств — Гоце, Пере и Даме¹.

И вас не пленяли объятий сплетенья,
горячими страсть не касалась руками.
Но только знамена — бесплотную тенью.
Но только винтовки — тугими ремнями.

И только во снах вы, — пока не уснули
навек, — прощались до гулкового эха,
до на сердце точку поставившей пули.

И жажда мечты не дала вам увидеть,
мельчанье эпохи, ничтожность успеха
и то, как любимая может обидеть.

¹ Делчев Гоце (1872—1903) — идеолог и организатор национально-освободительного движения в Македонии, лидер ее революционного крыла. Тошев Пере (1865—1912), Груев Даме (1871—1906) — соратники Гоце Делчева, участники Илинденского восстания.

КОЛУМБ

Я эту землю встретил на рассвете,
мечтал о ней — взор и сейчас хранит
блеск леса синего и жуткий ветер,
что бил волной в береговой гранит.

Сюда на веслах, на удачу падок,
шел, не пугаясь шторма, наугад.
О, весел путь в неведомое сладок,
но грустно возвращение назад.

Судьба моя, конец еще грустнее —
влеком свободой, рабство я принес
земле своей, рабом стал вместе с нею.

Неволя топит память горше слез,
и я, земля, сказать уже не смею,
приснилась ты или была всерьез.

ПОРТРЕТ

Там под бровями,
под сводом —
гладь,
мгла,
сна
хороводы.

Эти брови —
броды,
тянущие в омут,
ход в подземный сумрак,
веретено торнадо,
от которого меркнет рассудок.

ВОДНО

Под осень самую на склоне Водно
при мягком солнце, среди трав увядших,
на небо глядя, улеглись свободно,
нас трое пожилых
и гибкость потерявших.

Тепло земное было милосердно,
хотя уже акации увяли,
но синева влекла неотвратимо,
хоть пятна синие мешали
глядеть нам в неизведанные дали.

Земное притяжение ослабело:
мы ввысь летели, где, мерцая тонко,
оттенок фиолетовый манил нас,
суля, что скажет
всю правду о премудрости ребенка.

Нить, истончась, оборвалась без боли,
и нас прибило к тайному порогу,
где солнце предосеннее царило,
любого утешая
и душу исцеляя понемногу.

Мы бросили друг другу две-три фразы,
они с небес вернули нас без муки.
Мы были рады,
что спину созревающего склона
опять ласкают наши руки.

Стемнело — и внизу горели окна,
раскрытые глаза напоминая...
Мы так легко спустились по тропинке,
полны добра, как в годы,
когда жила в нас сила молодая!

ПЕСНЬ ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ НА ГОРЕ ВОДНО

Если я молчу, а небо ясно,
тишина, и в тишину такую
не от одиночества тоскую,
я молчу — молчание прекрасно.

Если повинуюсь ежечасно
я дыханью ветра, словно птица —
не от страха, что в корнях гнездится,
нет, повиновение прекрасно.

Если я глубокой ночью гасну,
это сон сморил меня в постели,
чтобы ярче светляки горели,
да, а погруженье в сон прекрасно.

Если я покорна не напрасно
виноградарю, который гроздья снимет,
то не потому, что не покинет
он меня, — нет, просто жизнь прекрасна.

Странной я кажусь, быть может, многим...
Но кто понял голос мой, я вижу,
тем земля становится все ближе,
все иное чуждым и далеким.

Zemci

1974

МОЛОДОСТЬ

Нет чудесней пейзажа, чем станция эта,
когда перед отправкою, здесь или там,
пыхают паром локомотивы
поутру
и не знают, что для поездов
установлено расписание,
и самое большее, что они могут, —
опаздывать к сроку
или еще кувыряться, если они озорные.

ЧАСЫ

Выключили радио где-то напротив,
и в тишине непривычной
я услышал часы на шкафу.
Это походило на равномерный стук
швейной машинки,
будто — все это время
на ней обрубали края платочка,
какой когда-то
молодые франты засовывали в кармашек.
И наконец-то я понял, почему пробежала
дрожь по моему телу.

СОН

Не пытайся меня увидеть.
Излучи мои
тебе непонятны.
Я теку подземной рекою
под белыми известняками дней,
а истоки мои —
ночи далекого детства.

РАЗГОВОР С РЕБЕНКОМ

Семь лет ручеек мой быстрый течет
и растет,
а я, так долго шагавший с ним рядом,
не знаю,
что мне ему сказать.
Я просто слушаю голос его
и лишь иногда вставляю словечко-другое,
чтоб разговор поддержать,
когда мне кажется, что он умолкает.
Водопадики звонкие уже отшумели —
я храню их бережно в памяти,
потому что к истокам уже не вернешься.

ГОРА

На душе моей такие наросты,
что ногтями сдирал бы,
рубанком состругивал бы,
ножом бы соскабливал, как лишай со скалы.
И если бы выпало даже
с волком сцепиться насмерть
и с ним покончить, —
все равно бы этот налет остался!
Гора моя, податливая и упрямая,
гора моя, с бедрами, меж которыми — поле,
ничего от этого не исцеляет,
только нас оголяет
до позвоночника боли.

НАКАНУНЕ ГОДОВЩИНЫ СМЕРТИ ОТЦА

Мать моя о покойнике лишь это сказала,
оплакивая его:

«Когда его видела я, вдалеке идущего
в белой рубахе по нашему полю,
мне казалось — то белый флаг вьется над нашим
полем,
и оно сразу становилось прекрасным».

Только что мать во сне застонала.
Никого этот крик не потряс,
никто его не слышал, кроме меня.
Мама, мама, мы так одиноки,
мы богаты лишь силой нашей напрасной любви.

СТРУМИЧКИ

Скоро в саду у меня расцветут молодые струмички
(так в наших краях прозываются хризантемы).
Набухает медлительно желтая сила цветка,
он пока еще сжат в кулачок, словно ручка младенца.

Струмичка моя,
с трепетной лаской
встречает тебя человек,
шагающий к старости.

Я тот, кто сегодня провидит твою красоту,
колыхание мягкое прядок на нежных висках,
завтра ты гордо выпрямишь стан,
и заструится твоя чистота, твоя желтая мягкость.
Четко очерчен твой лик в прозрачном воздухе

осени —

и я не могу, не имею права притронуться
к чистой душе, превзошедшей меня.

Миновали погожие дни этой солнечной осени.
Я очень тебя полюбил,
но мне не дано удержать даже видимость счастья.
Обещал напрасно цветок, что грусть мои песни

покинет,

шелестит листопад в моих жилах, увядает глубокая
осень.

ГОРЛИЦА

Голос твой не целебен, как прежде,
он только бессмысленно ранит мой слух.
Душа, занедужив, молчит, и лишь на виске
набухшая жила бессмысленно и бесполезно

стучит —

без вдохновения или порыва
в едином болезненном страхе пред роком.
Твой голос уже для меня не целебен,
о горлица — вестница мартовских утр на дворе!

ЗВУК

Отдохни, успокойся — надо ли
забредать в эти сумерки ранние,
в этот морок осенний.

Уже листья с деревьев попадали,
ну, а шорохи эти странные —
просто звук печали
осенней.

ЗАВЕТ

Умиранье, пока оно длится, все-таки образ жизни.
И любовь еще не погибла, пока ты любить способна,
пусть не меня, другого.
Трепетом, дрожью тайной — будет в твоей утробе
даже чужой ребенок
больше моим, чем вашим.

СОКРОВИЩНИЦА

Среди наших с тобой сокровищ есть и пара монет
фальшивых.

Мысли твои отвлекает их потайное звучанье,
отдаляя тебя от меня.

Если меня ты бросишь,
не будет тебе ни грусти,
ни даже моей могилы.

ОДИНОКИЙ ОЛЕНЬ

Мерзкие хищные твари за ним
настороженно крадутся.
Его уже не приманят к стаду
стройные лани серебряным звоном копыт.

Рогами цепляется он
за сучья деревьев,
когда танцевать начинает
ночью
или смотреть на луну,
чтоб сильнее ощутить
бессмысленность существованья.
Но все же он должен жить,
как иссякающий источник,
пока не согнет — не ко сну, а к концу —
не ко сну, а к концу
свое правое колено.

ПЕРЕВАЛ

В круговороте жизни
женщины, любившие его издали,
не успели ему об этом сказать.

Теперь они видят:
там, далеко, силуэтом на горизонте,
тихий шагает путник.
Скоро уйдет он за перевал,
и они потеряют его из виду —
навсегда, безвозвратно.
Каким красивым он кажется
издалека, на фоне заката!

А он лишь один знает, как ему тяжело сейчас:
он устал, голова его пылью покрыта,
пыль скрипит на зубах.

Он спускается медленно в темнеющую низину.
Скоро станет невидим совсем.

ЗАСУХА

Глаза мои — колодцы иссякшие
в засуху
в краю каменистом, запущенном, выжженном.
Как земля трескается, ожидая капель дождя
в летний зной,
так душа молит о слезах,
а глаза мои их никак не выжмут.

Это о многом свидетельствует, пойми же.
Не просто так и растенья сгорают от жажды,
и от голода мир умирает,
и плачут, роняя слезы, только о тех,
кто ушел уже без возврата.

ДОН КИХОТ

В мире, на фронте бескрайнем
и ему отвели сектор
защищать обороною круговую:
сплошь проклятое место —
поле, раздираемое враждою,
с одной из сторон — жалкий Гектор.
Это поле в болотных травах не знаменито
доблестью ратной.

Копыта

диких свиней истоптали его,
истолкли, как приправу в ступке;
хряки
камня на камне не оставляли,
чтобы другие на прочих бранных полях
якобы славно историю создавали.

ОДИССЕЙ

Твой старый, но еще красивый лоцман,
твой волк морской, чьи челюсти железны,
тебе, конечно, не был верен — бедный — во время
долгих странствий.

И не всегда его ждала ты, Пенелопа,
в объятьях чистых, кротко и смиренно.

И что с того?!

Теперь вы любите друг друга несомненно,
богаты опытом огромных кораблей,
что в гавань тихую,
как лебеди,
вплывают.

Так будьте на века благословенны,
я вам завидую!

ЛЮБОВНИЦА

1

Она подошла ко мне,
а могла б подойти еще ближе,
она и совсем не боится прильнуть,
она — тело, которое жаждет безудержной ласки.

2

Она не приходит, когда ты зовешь, но приходит,
когда твоя кровь
на берег ее выносит.
И не просит она ни о чем и желает немногого:
в жаркий полдень ей нужно войти
только в тень твоей плоти,
чтобы там отдохнуть.
Твое сердце не может желаний ее обмануть!

3

И она мою жизнь мне вернула всей дрожью
роскошного тела.
Она к жизни вернула меня,
а значит — к измене.

Уже против нее этой ночью во сне
поднимали свой голос
былые пристрастия.
И влюбленность, которая будет потом,
наяву уже требует —
всем устройством судьбы —
себе требует нового завтра.
Оттого-то, наверное, я и кажусь себе
злым и ничтожным.

ТРИ КРУПНЫЕ ЖЕНЩИНЫ

Три крупные женщины поплыли по озеру,
как три гладкие рыбины под прозрачной
водой.

Три крупные женщины оставляют за собою три
следа

блеском ритмично воздеваемых рук,
сладким стремлением бедер,
тайным касаньем груди,
щекочущей воду.

Я наблюдаю за каждым взмахом правой руки,
за каждым отталкивающим жестом левой,
слежу за тихим ритмом обеих кистей,
обеих щиколоток, обоих бедер их под водою.

И хотя время остановилось, пока я смотрю
за ними,
они уже от меня далеко,
они уже там, где мне не бывать.

Там — три крупные женщины ложатся
на спины,
чтобы перевести дыхание и отдохнуть.
Теперь их взор устремлен к небу,

их тела покачиваются вместе с озерной рябью
и сверкают на солнце,
как чешую — рыбы.

Даже их смех, размеленный в зерна,
до меня долетает,
словно незримая сеть растянута между нами,
и я с трепетом вполне понятным ожидаю
их возвращенья.

КУМАНОВО

Думал, что постоянно будем ездить в Куманово,
хоть зимой — на кумановский суджук¹,
хоть в марте, когда едят потроха ягнячьи,
хоть на цыганский праздник, в светлый Георгиев
день.

Думал, что нам не закроют дороги
целенаправленной —
ни туманы, ползущие поздней осенью с Карадага,
ни колонны машин в разгар сезона,
ни что другое — зверь, человек, ненастье.
Так я думал, и в этом было
единственное утешение моей жизни,
единственная надежда в грядущем.
Так я думал и не понимаю даже себя самого,
расхотевшего ехать теперь в этот город,
вернее — глубоко загнавшего свое стремление к нему.
Я не знаю, о чем же больше жалеть мне, друзья, —
о том ли, что моя ослабела воля,
или о том, что ваша воля ослабла.

¹ Суджук — вид острой колбасы.

ВНУК

Вот выступает на сцену мой внук,
еще не умея ходить,
только что отнятый от материнской груди,
семи месяцев от роду,
весящий, слава богу, целых десять кило.
Внучок, перед тем, как ты встанешь на обе ножки, —
вкушай! И потом вкушай! —
узнавай вкус всего, вкус чего я давно позабыл, —
воздух — носом, и грудью, и языком;
свет — бровями, белками, глазами, ресницами;
пищу — зубами, губами, и горлом, и всем
животиком;
влагу — всем телом, прохлады жаждущим;
цвет и тепло, ароматы, и звуки, и прочее...
Не думай ни о чем больше, внучок.
Кому это нужно — думать!

ВОСПОМИНАНЬЕ

Ты уже постарела,
и тело твоё отцвело,
обессилело, отяжелело,
и себе я простить не могу,
что по собственной воле
твой образ, как мог, не присвоил
в том обличье, которое нежно светиться могло.
Твое тело, которое цело, себя предлагая,
это чудное тело
белым облаком воспоминанья летит в небесах,
но и это — прошло,
ни усмешки в потухших глазах,
и осталась лишь краткая память,
как мне дорог был вид твой и взор.
Вот и я постарел,
лишь усталое тело мое
помнит, помнит тебя до сих пор.

КУЗНЕЧИКИ

Мы целое лето стрекочем свою простую мелодию
в тайной надежде привлечь к ней твое внимание.
И теперь, в конце августа, когда обрывается лето,
этим вечером поздним
твой слух прикасается к другому, более глубокому
слою,
к более сложным созвучиям,
к чему-то самому главному в созревании и в паденье.
И теперь, после этого быстрого постижения,
наш стрекот особенно ясно звучит в тишине,
и наша звонкая речь до тебя наконец доходит,
ты вбираешь ее в себя всеми своими чувствами,
хотя не совсем ее понимаешь,
но все, что ты знаешь, ты знаешь лишь потому,
что ты нас услышал,
потому что дотронулся вдруг до какого-то важного
смысла.

БАБОЧКА

Нет тебе никакого дела до моего преданья,
ты и знать не хочешь, кому я обязан,
кто дал мне разум с душой.
Ты озабочена собственной славой и красотой.

Тебя не интересует семя, из которого — увы —
все произрастает,
и ты не веришь в особый подход к свету и тьме.
Что тебе может пообещать мое необычное поле
зрения?

Ты боишься за свою славу и красоту.

Где-то берет начало мое стремление к тебе,
и ты не можешь не ощущать свежести этого ветра,
но в какую бы сторону ни повело, ты никогда
не против,
лишь бы это не подвело твою славу и красоту.

В чем же ты ощутила глубину тех черных корней,
которые насыщают меня до тени тучной и плотной
летом,—
и пока шелестят ветки не только по воле ветра —
при таком страхе живучем?
В чем же твоя любовь, спрашиваю об этом!

Красуешься, словно бабочка, на стволе сухом.

РЕВМАТИЗМ

Это ангел меня долотом в правое бьет колено.

— Я долблю не для крепости духа —
говорит —

я долблю, потому что приказано, велено свыше.

Мне сказали долбить, и дробить, и громить

непрестанно,

день за днем, год за годом, несчастное это колено.

Я смертельно устал от такой монотонной работы.

Умоляю, прости, если больно.

ОЗЕРО

Задумавшись, выходишь все с той же проклятой
мыслью
и вдруг — у самого порога
открываешь для себя мир, в который уж раз,—
озеро под голубою дымкой Беласицы,
обрученное зелеными чинарами и кипарисами.
И нужно, чтоб на один человеческий миг эта красота
вновь стала обычной,
чтоб ушла в тебя, как в пепелище,
чтобы исчезла,
а ты бы опять стал нормально-несчастливым человеком,
как большинство вокруг.
Но как драгоценен именно вот такой интервал
меж двух угрызений совести.

ПРЕДСКАЗАНИЕ НЕСЧАСТЬЯ

Не предсказывай несчастья даже мимолетной
мыслью,
потому что ты имеешь предсказанья грозный дар:
как беду вдали увидишь — так она с тобой
случится,—
лучше б спать — не просыпаться, иль напиться,
иль от мира отрешиться,
ибо многое зависит от тебя же самого.
Лучше бы тебе не ведать вовсе о подобной власти,
ибо, как уже я знаю,— радость не заметишь ты.
Лучше к каждому мгновенью подходить
в недоуменье,
не успев о нем помыслить — как, зачем и для чего,—
только так покой находишь,
отдых сам себе творишь,
как создатель беспристрастный,
человек, а не вещун,

СЛОВО

Я думал всю жизнь о ненужности слова,
о том, что меньше всего оно трогает именно тех,
кому предназначено —
откуда же эта потребность выворачивать душу
словами,
тем более в ритме и с рифмой, и даже
с аллитерацией?
Тут как раз и видна бессмысленность всей природы,
ее источников:
о воде ли речь, о кипящей магме или о диком
гортанном крике.
Это — порыв, и ему не до смысла!

Новые циклы

1979—1980

Среди деревьев

ГРУША

Груша, давно поспевшая;
видишь, уже перезревшая;
скоро она догниет понемногу,
словно душа изболевшая.
Завязь возникла вначале,
после плоды закачались,
не удержались кривые, червивые.
Кое-что сделал дождик,
кое-что засуха сделала,—
груды упавших плодов и всюду стерня
пожелтелая,
и на душе муравьи оголтелые.

ПЕВИЦЕ

К нам вновь долетает твой голос,
тайным желанием трогая,
и песня твоя убеждает нас,
что еще мы годны на многое.
И хочется нам, чтобы долго ты пела,
чтоб грусть наплывала, чтоб сердце болело.

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Как же поправиться нашей сестренке,
как пережить ей тяжелый час,
как же ей выздороветь, если
плачет она обо всех нас?

Ноги мы наши совсем замызгали,
каждый в проклятой грязи увяз:
как лишаи, как корь, как проказа,
жуткий недуг изнуряет нас.

Нам укрепить бы голос и тело,
смелыми стать единственный раз,
чтобы больная сестра узнала:
больше не нужно жалеть нас.

Как же поправиться нашей сестренке,
как пережить ей тяжелый час,
как же ей выздороветь, если
плачет она обо всех нас!

ГРЯДУЩЕЕ

Где оно, минувшее,
то давнее, о чем печалимся,
и где оно, грядущее,
то близкое, что встретить и не чаем мы,
что обещает нам
волненье хлебов на полях, где еще и не сеют,
что обещает нам робкое прикосновение
объятий и губ,
что без нас созреют.

РОДНИК ТВОЕГО ГОЛОСА

Мне не то в тебе важно, что обычно влечет,
и прекрасное тело — это ценность не главная, —
всех соблазнов важней для меня уголки твоих губ,
влажный взгляд твоих глаз мне особенно важен
и рук твоих ломких полет.

Голоса нежный родник мне важнее всего.

Только ты или кто-то другой отобрал это все у меня,
и остался лишь призрак испуганной мысли,
как сплетение веток безлиственной ивы зимой
на сереющем небе,
и все это
так темно, неказисто и жалко.

Голоса нежный родник твой иссяк для меня.

ПЕС

Как подменили соседского пса-альбиноса, —
точно не он,
виляя хвостом,
что ни день ко мне ластился,
красивый большой
белый пес.

Что с ним случилось в это туманное утро?
Бросился на меня со злобным лаем,
зубы ощеря.

Неужели ты вошла в мою плоть, неужели
все это зло — ярость минувшей ночи —
передались мне настолько,
что стал я чужим?

Пес, старый товарищ, и тот сбился с толку.

СТАРАЯ ЛОЗА

Это было предчувствием некого вкуса,—
горького, но освежавшего,
словно корни пустил глубокие явор
к водам подземным.

Это был неизведанный вкус,
но память его хранила
не на губах и нёбе,
скорее во сне лишь.

И как же назвать мне
тибельной жажды глоток утоленный,
отдых бескрайний,
если лишен я тебя!

И снова метаться мне в тесном кругу
своих представлений, легенд и догадок.

А может, и вправду
была неизведанным вкусом вина ты
от старой лозы.

У СОСЕДКИ УМИРАЕТ СЫН

Ужасный день, ужасные минуты!
В соседнем доме умирает сын
соседки. К нам оттуда по ветвям
протянуты, как паутина, струны,
незримые, готовые заплакать.
И все напряжено. И все вокруг
до боли, до бессмысленности четко.
В испуге дети приоткрыли рты,
немая, ловят каждый звук оттуда,
и даже птицы залетать боятся
в тот круг, в котором — лишь мольба: о боже,
пусть завтра, завтра — только б не сейчас!

ПАМЯТЬ О ГЬЕРЕ

Гьере умер.
Тому уже год.

Яблоня в опустевшем дворе
шепчет себе:
«Самое большее два-три дня,
скорбя о нем,
могу не цвести.
А там весна возьмет свое».

СРЕДИ ДЕРЕВЬЕВ

Стоишь как вкопанный —
как будто корни
и впрямь пустил в подземные пласты,
и шевелятся корни,
ищут влагу.

Стой! Лучше ты не двигайся!
Твой слух
пускай потонет в шуме тысяч листьев,
дающих птицам и простор, и тень.
Теперь ты можешь с ветром говорить
о музыке.

Не торопись шагнуть,
не разрушай с деревьями союза!

ОТМЩЕНИЕ

Время приходит, и дерево мстит человеку
за все зарубки и все затесы,
за все обиды и все подрезки,
за необдуманные слова,
за неблагодарность к плоду и тени.
Не может оно подстеречь на пути,

как разбойник,

оно только может
войти в твои сны с толпою вечерних теней,
войти в твои сны, как живое распятие,
холодные корни
в жилы твои погрузить —
и страшной будет во сне
этих теней игра,
родящая холод в крови.

Оно колдовать, ворожить умеет —
о, берегись, насильник,
тех, кого ты связал!

МОЛОДОЙ КЕДР

У молодого кедра — крепенький позвоночник,
ростом он с паренька,
что в поле стоит под дождиком —
зеленый плащ на плечах.

Или еще похож он
на молодого зверька,
он вверх по скале карабкается,
остря свои юные когти,
мускулами поигрывая,
самодовольно оглядываясь,
ибо он верит в жизнь
и все ее радости.

Многим ветрам уже
молодой кедр подставлял свое тело,
но никогда не ломался,
а, распрямившись, нацеливался
в небо, словно сверло.

Он, молодой кедр,
знает себе цену.
Себе и своей красоте.

И что бы ни сделали с ним —
все, самым чудесным образом,

обернется его победой:
если подрубят его топором —
он сумеет величественно и гордо
припасть к земле, что вскормила его,
если его подожгут —
взметнется факелом яростным
к небу, его вспоившему.

Молодой кедр знает:
в мире самое главное и решающее —
взойти.

Всё стихи

О ЖИЗНИ

1

Ты себя совсем не знаешь,
жизнь моя, большая нива!
Почему сейчас сорока
на дворе стрекочет живо?

Дерзкой птицы странны речи,
говорит темно, невнятно,—
и хоть это мне и странно,
не скажу, что неприятно.

Странно то, что мир огромный
весь вобрать способен разум,
все, что в этот миг случилось,—
звуки все и краски разом.

Знаю, что такая чаша
треснет вдруг в мгновение ока,—
все же жизнь полна до края,
все же жизнь не знает срока.

Как сундук с добром без дна,
 сказочный,
 так жизнь полна!
 Черпай, пей —
 не будет мало,
 насыщайся до отвала.
 Нынче в сундуке добра
 столько же, как и вчера,
 в равной мере, в каждый миг, —
 не богач ты, не должник.
 Подходи кому не лень,
 а сундук все полон всклень!

Я привязался к жизни пожилых людей,
 потому что эта жизнь обостряет все чувства,
 она содержательная,
 но слабая:
 как ручей, иссякший под обрывом,
 как ветер перед финишным порывом,
 как нить, что истончилась пред разрывом,
 как горящая свеча, которую легко задуть,
 да и сама она вот-вот догорит.
 Тогда жизнь содержит
 все непреходящее,
 но и все мимолетное,
 не знающее заботы о спасении
 и обретающее смысл только в неосознанной
 доброте.

ВОРОВЬИ

Жизнь не так-то проста,
не дается легко, без усилья.
Воробьи греют воздух дыханьем своим,
плещут песни и крылья.

Шум и гам наверху,
чик-чирик, чик-чирик, не пустяк,
если только что под стреху
в крепком клюве принесен червяк.

Под крылом черепиц
хор звучит: по углам, по карнизам
много новых на свете появится птиц —
воздух жизнью пронизан.

Этих проще всего
воробьев провести на мякине,
всех накрыть решетом, скажем,

под рождество, —

но им сладко и ныне.

Шум их жизни услышать я рад
среди беседы о деле,
если б не было этих веселых рулад,
ох, жалели б, жалели.

Если б не было их, стало б глухо,
вместо песен — лишь брань да тцета,
и вовек не коснулось бы слуха:
чик-чирик, жизнь не так-то проста.

НЕИЗВЕСТНОСТЬ

Ни о чем мы не знаем доподлинно,
ум устроен наш грубо.
Как неясно в тумане мерещится,
что душе нашей любо.

Знать, в любви скрыт отказ от желанного,
сладость сменится плачем.
Ведь никто не заметит отчаянья,
вздохов теста под сачем¹.

Может, тень принесет облегчение,
на губах — влаги капли?
Те ли ближе к источнику свежести,
кто всех больше ослабли?

Эти ль мысли придут тебе в голову?
Им не сыщешь управы.
А тебе можно ль, знать бы, довериться,
сил лишившись и славы?

¹ С а ч — металлический сосуд, под которым производятся выпечка.

ОБЪЯТИЕ

Внезапно возникло желание
обнять лозу винограда,
рукою прижать ее к сердцу,
к плечу и щеке своей,
в листок ее впиться губою!
Так, наверное, мог бы
обнять живую змею я,
таким же образом точно, —
и мне бы ничто не грозило
при этой любви внезапной
от наших объятий.

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

Коснулась,
словно
гроздь ханаанская,
щедрая
вся
ото лба
и до пяток, —
чтоб губы
брали
спелые ягоды жадно,
чтоб пальцы
будили
на теле мурашки.

ЗРЕНИЕ

Пусть я буду слаб и болен —
был бы взгляд мой чист и волен.
Пусть гнездится мука в теле —
лишь глаза б на свет
глядели!

Для чего цветы на склонах,
виноград в садах зеленых,
вспышки молнийного света,
если я
не вижу это?

Пусть слабеет, чахнет тело —
лишь душа б на свет глядела!
Жить без зеркала — не штука,
жить, не видя, —
вот где мука!

ARS POETICA

Перед старым Воробьем
стаяка птенчиков хвалилась:
«Эй,
мы лучше поем, мы концерты даем!
Ну-ка, слушай, старик:
чирик! чик! чирик!»
А старик отвечает им с ветки:
«Ребятки,
это должно быть легче и мягче,
смело, но мило,
прелестно и грустно,
с мудростью горькой,
с болью зажатой:
чирик... чик... чирик...
Вам еще не под силу такое, ребята».

МОЛИТВА НА СОН ГРЯДУЩИЙ

С вершины березы,
с небесной межи
слети на ресницы,
колдуй, ворожи.

Межбровьем, межглазьем
пройди, запаши
межу раздвоенной,
разъятой души.

Что день разодрал
в суете и возне,
пускай понемногу
срастется во сне.

Слети от берез,
от вечерней зари,
войди под ресницы,
усталость сотри!

Жизнь на каждый день

БОНА

Меньше пяти пирогов не месила,
чтоб в семье — хоть по куску на каждый рот.
И пятерых же оставила сирот,
потому как не дал ей бог здоровья.
Другие, кто покрепче, выдерживали
и работу на хозяев, и жатву, и молотьбу,
а она сломилась,
что ветка липы под повешенной торбой,
что былинка под ногою,
что под вихрем колосок,
потому как не дал ей здоровья
ты, господи, неправеден и жесток, —
и она не успела даже уразуметь,
пятерых сирот оставляя,
что жизнь ее короткая — за материнство плата:
надорвалась, была здоровьем слабовата
она, великая святая!

ЖИТИЕ ТАСЫ БОЯНОСКОЙ

Где моя вера, господи?
Где они, мои к тебе молитвы?

Я ль не постилась, не была женою на ложе
тридцать годов, зимой и летом?
Все вымаливала: дай дитя мне, боже!
Чаяла — услышишь, да где там...

Сироту взяла, усыновила я,
только б унялась тоска-кручина.
Уж голубила его
пуще матери,
берегла, что родного сына.

А как вырастила да оженила,
понадеялась: будет мне отрада.
Но и ему не послал ты чада!
А теперь вот лишилась
и его самого я —
взял ты его прежде времени,
тем и добил меня, сердце — как неживое.

Как же мне веровать, господи?
Как, тобою проклятой, быть на свете?

ТЕТКА-КРАСА

Выдали ее в дом богатый,
за немилого выдали, за хилого,
обрекли, как в наказанье, на муку
немилосердно, несправедливо.
Иль слепцами были ее три брата?
Иль попросту видеть не желали,
как сестра их красива?

Были братья заодно с повстанцами —
с теми, что землю отнимали
то у одного аги, то у другого;
только это на уме у братьев,
свет на землях тех сошелся клином —
всё о них да о них, что ни слово.
А сестре они не сострадали,
чуть ли не стыдились порою
красоты ее, дивного дива, —
вот и выдали наспех,
словно заживо похоронили,
немилосердно, несправедливо.

А она
в лихолетье,
в непроглядную ночь,
по чаще лесной, по бурелому,
обезумевшая, бежала

туда, в пальбу, в полыханье пожара,
как только услышала тревожную весть, —
ко двору родному,
к отчому дому,
братьев подбодрить, своим помочь
и, коль случится,
вражьи бесчинства
вместе со всеми перенести.

А после,
в праздники,
в дни спокойные,
такая милая,
складная, стройная,
белою лебедушкой к ним в гости шла —
радостью, нежностью поделиться,
просветлить племянничков лица
да узнать у братьев,
как дела.

Такою нам она и запомнилась.
И сколь ни далеки сегодня детства небеса,
в них не гаснет облик тот,
свет неразгаданный —
тетка-Краса.

Была она для всех защитой, подмогой,
а с нею не считались, ей на беду.
Потому, наверно, красоты подобной
никогда больше и не было
в нашем роду.

УСПЕНИЕ ТЕТКИ МЕНКИ

Так вот на чем покоилась вся ее жизнь!
На сдерживании собственного дыхания,
на том, что ни солнечный свет, ни воздух
она ни разу не заставила вздрогнуть
от стонов, криков, проклятий,

в груди ее kloкoтaвшeй, —
раскрыться не дала ничему,
что омрачить нас могло бы,
и даже хлеб, замешенный ею,
нам улыбался, казалось.

А жить она обещала долго,
от нас отлучая тем самым думы о смерти...
И вот в окно смотрю я оцепенело:
ее уж нет, скончалась она нынче утром,
и я не припомню, чтоб двор был таким безлюдным,
чтоб все было так спокойно и неподвижно,
чтоб так безоблачно ясен был день февральский,
чтоб яблони голые так осторожно и тихо
протягивали друг другу пальцы ветвей.
Я чувствую вдруг: трава пробивается новая,
и это — единственное, пожалуй,
в пространстве мыслей моих движенье.
Такой покой не приходит сам — она потрудилась,
чтоб вздох последний ее

растаял беззвучно, бесследно,
чтоб все было так, будто она и не существовала.
И все-таки заново собирать мне теперь придется
рассыпавшийся мир, который она так бережно
держала умудрялась в целостности и для меня.

НАШ ОРДЕ

В раннем еще детстве он сломлен был судьбою,
словно деревцо, что и расцвести не успело.
И страх вязким омутом залил его душу,
и жизнь сквозь нее
нелегко протекала.

Так он рос, покривлённый, пришибленный,
с походкою неверной,
с боязливым смехом,
даже во сне успокоенья не ведал,
ни на чью и не зарился дружбу,
ибо, исповедуясь, отпугнул бы любого
сдавленным своим, хриплым голосом.

Но глубоки, знать, были его корни,
коль стерпел он всё — до той самой минуты,
когда в виде птицы, пусть и несуразной,
над землею неласковой, над водою темной
он узрел себя с крыльями раскинутыми,
перед тем как упасть в холод вечный.

И тогда его успокоенное тело
нам сказала впервые, что был он рожден
для чего-то высокого, необыкновенного.

Он в памяти нашей,
как в омуте вязком,
остается летящей волнистой тенью.

ДЯДЯ РИСТЕ

Не в феске,
так в шайкаче,
не в каске,
так в фуражке
дядя воевал,
воевал семь лет.
А нрав остался мягким,
сколь те года ни тяжки, —
в душе ни зла, ни гнева
ни капли нет.

Просто считал законом дядя:
кому оно выпало, те и должны
маршировать походным шагом
с войны на войну, в войну из войны.

Ростом дядя не высок, не низок,
усы — то ль овсы,
то ль остистая пшеница.
Шел он и шел,
один-одинехонек,
вроде и не помышлял жениться.
Но так случилось, что все-таки
мужем стал моей тетке.
Тут и призабыл о марше своем,
зажил по-другому с теткой вдвоем:

свили гнездышко, так ведь говорят,
стали птенцов растить — малых ребят.

Труд поденщика всем известен,
незачем повторяться нам —
лучше не скажешь про это, чем сказано
Ючо Рацином.

Встань до зари, поспешай
на чужое дальнее поле,
и лишь Сивко-ослик тебе посочувствует
в твоей завидной доле.

Впрочем, сам дядя думал не так —
бывало, радуется, чудак:
«Есть, слава богу, свой домишко,
хоть доходы и невелики.
Вот соберусь — и под окнами
посажу ноготки!»

А как стали на ноги дети,
то и покинули дом,
ни отца не послушав, ни мать:
за справедливость ушли бороться,
жизнь эту к лучшему исправлять.

И тут нагрянула битва новая,
разорительная, беспощадно суровая —
война с оккупантами и карателями,
с ликвидаторами,
provокаторами,
предателями...
Был повсюду неурожай,
были жертвы — поди сосчитай!
Многие наши пропали в те дни,
про других дошли-таки вести,

что брошены за решетку они
и что дядин сын с ними вместе.

Дядя вовсе не был охотником
к многословью, к долгому разговору,
и все ж из уст его
вот что
довелось мне услышать
в ту горькую пору:

«Да придет нам на помощь миротворец,
нынешний Трифон святой,
порядок навесть
какой ни на есть,
наделить нас любовью и добротой —
вражду, глядишь, и забудем,
и добром за добро воздаст господь
нам, людям.
Тюрьмы пусть опустеют,
пушки пусть замолчат,
пусть вернутся домой и узник и солдат,
а для убийц, для доносчиков,
коих немало,
чтоб их всех разорвало,
да разверзнется ад.
Пусть своих, живых, увидит свой,
сын к отцу воротится живой!»

В ту борьбу не на словах, а на деле
вступить пришлось и ему:
не было такой недели,
чтоб на плечо не закинул он суму,
не оказался в пути,
дабы хлеб отнести
заключенным, в Битолу,
в тамошнюю тюрьму.

Поездов не признавал он, упрямый,
хоть с эшелонами был знаком.
Каждую неделю
от Прилепа до Битолы самой
проходил Пелагонию
и обратно —
пешком.

Просто считал законом дядя:
кому оно выпало, те и должны
маршировать походным шагом
с войны на войну, в войну из войны.

В феврале метели,
в марте дожди —
солдату бывалому не преграда.
Левой!.. Левой!.. Вперед!..
Надо так надо.
Шел, как приглашать на свадьбу ходят,
потряхивая деревянной баклажкой, —
и оставил свой след
на дороге тех лет,
на дороге грустной и тяжелой.

И когда между собою
узники хлеб его делили,
то как будто крепили сразу,
прибавляя в силе.
А узники, а борцы-то эти
были ж совсем еще дети —
и, помышляя только о том,
как вырваться на волю оттуда,
вряд ли чувствовали, вряд ли ведали,
что свершается чудо,
что у хлеба дядиного — свой секрет:
он в дороге, за пазухой, сердцем согрет.

Дядя многих тогда поддерживал —
и ведь все, кого ни возьми,
стали потом большими людьми!
Не ради одного торился дядин путь,
и не двоих, и не пятерых даже ради, —
может, и нынче из них кто-нибудь
вспоминает о дяде.

ДЕДУШКА ИЛИЯ

Было лицо его
улыбчиво, открыто,
ни дать ни взять — безущербная луна.
Он кафтан короткий
красным поясом подпоясывал,
при любой погоде
безрукавку на плечи набрасывал,
а за пазухой — фляга,
всегда полна.

Видно, с таким вот наказом
на свет родила его мать:
меж братьев — торговцев, отходников,
плотников —
быть ему землепашцем,
по земле не праздно ступать,
а от страды к страде,
от борозды к борозде.

Или был он самою судьбой
в сеятели назначен,
в пахари?
Осенью, бывало,
расстиляет перед собой
радуги семян
широкими взмахами.

Величал быков не иначе как ангелами,
ставил свечи рождественские на их рога —
и зажигал, чтоб год был урожайным,
чтоб кренились от тяжести
пшеничные стога.

Весна, известное дело,
и надежду приносит, и страх:
до молотьбы еще далече,
что там таится в тучах да ветрах?

А летом,
когда поле — как в кипящем дыму,
шел он вслед жнецам, приходилось жарковато,
и снопы, им связанные, один к одному
ложились, что твои телята.

Хоть непогодь, хоть погода, —
с годами, с временами года
сила убывает, кровь остывает.
Глубоко распахан у пахаря чело,
перейти межу последнюю
время подошло.

Под конец совсем он ослеп,
лишь спрашивал — как, мол, там хлеб? —
да во сне порою видел родное село...

Только и осталось:
фляга старика
и еще — его улыбка,
удивленная слегка.

Марко
Королевич

ЛИШЕНИЕ СИЛЫ

Переодевшись нищим, бог встретил у дороги Марко Королевича¹. В суме своей он собрал тяжесть всей земли. «Сынок, стар я, помоги суму поднять на плечо». Марко подцепил ее острием копья, и земля задрожала. «Что я наделал?» — сказал бог самому себе. И оставил ему треть его силы.

Народная легенда

Ты, внушивший мне неземную силу,
чтобы пророс я мышцами, словно дуб — узлами,
чтобы радовался в молодости своим ветвям и листве,
чтобы озорничал простодушно,
ты, пославший мне чувство того, что и землю
способен я сдвинуть,
как пахарь, отбрасывающий камень от плуга,
боже мой,
почему ты меня испугался,
почему от невольного ужаса изменил свой
первичный замысел,
почему ты лишил меня силы?

¹ Марко Королевич — персонаж эпических песен южных славян, герой-богатырь.

Я в мыслях к тебе приходил, как приходят
к родным,
в твой дом приходил с простодушьем ребенка,
который, едва отдышавшись, вбегает во время игры,
чтобы взять кусок хлеба на кухне,
я видел в тебе заступника, который мне улыбается,
который доволен чистым водопадом моей души,
который заботлив и добр,
я просто не мог представить твой облик иным, —
а ты, всемогущий,
прикинулся нищим,
ты вывалил пыльные тряпки нищей сумы,
изобразил на лице скорбную муку старца,
ты притворился слепцом,
чтоб я не заметил хитрости, скрытой в твоих
глазах, —
и все для того, чтоб сильнее меня искусить,
чтоб купить, чтоб измерить меня на весах,
а потом так сурово явить свою власть надо мной.

Боже мой,
зачем ты унизил меня настолько,
прежде чем уничтожить?
Неужели ты не предвидел, что один из людей
стал очевидцем
одного мгновения твоей подлой слабости,
чтобы с горькой усмешкой смотреть на все,
даже на величие неба
вешней полуночью, когда звезды ясны
и полны надежды в тишайшей молитве.
Немилосердный,
чувство меры тебе изменило в моем унижении!
Я расколот,
и оставлено мне ощущение силы моей,
чтобы я пребывал пересохшей подземной рекой,

где клубятся еще завихрения тьмы после грохота
волн.

Ироничный,
ты оставил меня в погибающем царстве,
на корабле, который тонет с грузом грехов
и страданий,
чтоб я кое-как держался, спасался,
пока заливают мутный поток.
О ты, наверху, наслаждайся
тем, что ты мне назначил такую судьбу,
ты, отметивший знаком меня от рожденья, чтобы я
от других отличался.

Боже мой,
дымится в руках твоих головня, которой ты сжег
мне крылья,
всем своим существом поднимаюсь против тебя,
всей душой тебя проклиная
и не жду от тебя ответа.
Я, униженный,
стал ощущать в себе нечто такое, что тебя
превосходит,
чем, быть может, владел и ты, но чего лишился,
когда нас создавал, чтоб уменьшить страданья свои,
в одиночестве
я должен теперь сквозь туманы искать
единственный путь.

СТЕРНА

А мои старики, разве не страшна им Стерна, которую соорудил близ Марковой башни Марко Королевич, который перекрыл воду, навалив не счесть сколько мешков с хлопком и скрепив дамбу гвоздями длиной в аршин; перекрыл воду и тем спас Прилепское поле, и не стало оно чем-то вроде Охридского озера.

М. Цепенков

Я Стерну укротил —
построил дамбу.
Возвел из бута, гравия и щебня,
упрочил глиной и песком
и умости́л фашинами,
и уплотнил очесами, тряпьем и хлопком, —
дабы незыблемой была бы дамба.

Я вовремя управился.

Ночами
мне было не до сна:
ходил, прислушиваясь, как вода
ворчливо злобствовала под землей —
невнятна речь, но грозен голос.
Вода была подобна бурому медведю,
который в мрачном логове своем
готовится к ночной охоте.

Я знал:

вода дождется часа,
тогда дитя уgomонится
и смолкнет колыбельная,
и остановится веретено;
тогда отужинают пахари
и, размотав портянки,
засыплют опинцы¹ мякиной;
когда подернется белесым пеплом
последний уголек;
когда утихомируются собаки, а в овчарне
отзвякает последний колоколец;
когда, измученные кашлем и бессонницей,
забудутся тяжелым сном хотя бы
ненадолго старики.

Воде терпения не занимать стать:
дождется часа своего —
глухого часа.

Все спят.

Лишь я один, как тать в засаде,
в утробе черной ночи,
прислушиваюсь, сторожy, не веря
обманчивой внезапной тишине —
вода хитрит,
дабы, собравшись с силами,
напасть внезапно.

И будет поздно
кричать,
будить людей,
размахивать руками!
И было решено:

¹ О п и н ц ы — крестьянская обувь из сыромятной кожи.

я Стерну укротил —
построил дамбу.
Возвел из бута, гравия и щебня,
упрочил глиной и песком
и устил фашинами,
и уплотнил очесами, тряпьем и хлопком, —
дабы незыблемой была бы дамба.

Я ликовал —
слабел и пресекался голос
воды.
А я душил ее до полного оцепенения.
Я слышал:
вода стонала в подземелье,
униженно молила о пощаде.
Но я,
ожесточась,
кидал, укладывал и утрамбовывал
каменья, глину и фашины.
Я торопился — если дать ей передышку,
она опомнится и к ней вернутся силы.
И наконец
я разогнул натруженную спину,
и грязный пот отер со лба,
и, грудь расправив,
вдохнул ночную тишину и свежесть.
Но что это?
Как будто чей-то приглушенный хохот.
Как будто в недрах кто-то
смеется надо мной, прикрыв ладонью рот.

Все спят.
Лишь я не знаю сна.
Не Стерна ль в плоть мою вошла?
Не темный ли поток струится в жилах?

Так явственно звучит во мне
ее зловеший голос:
настанет час,
глухой, безмолвный, поздний —
я вырвусь,
освобожусь,
нахлыну, все сметая на пути,
все затоплю
и успокоюсь, лишь разлившись на просторе.

КРЕПОСТЬ

На строительстве крепости в Вароше Марко принудил работать старых и малых, мужчин и женщин. От Плетвара до Вароша из рук в руки передавали камни. Семьдесят грудных младенцев умерло без материнского молока.

Народная легенда

Поднимается белая крепость моя, освещенная
солнцем, —
неприступные стены и стройные башни —
словно сокол, с вершины скалы
озирающий необозримые дали.

Я пришел в этот мир
возвести эти стойкие стены,
как щитом заслониться и противоборствовать злу.
Возвестила судьба:
в этом месте да вырастут башни,
словно сосны, что ветру на круче противостоят.
По велению свыше
здесь должна быть застава
на пути лиходейства.
Дальше нет ему ходу — надежен заслон.

Потому-то собрал я и старых и малых,
всех мужчин и всех женщин,
тех, которых не мучат заботы о предначертании —
имя им легион.

Я не цепью сковал их друг с другом,
а строительным камнем —
белым камнем, который от Плетвара
по цепи
из рук в руки до Вароша
тек мозолистым руслом ладоней —
нескончаем был этот блестевший на солнце поток.

До того ли мне было, чтоб видеть
изможденные лица,
пересохшие губы
и усталые руки?
До того ли мне было, чтоб слышать
проклинавших меня матерей, чьи грудные
младенцы
заходились от плача, покинутые на стерне,
опаленной безжалостным солнцем.

Ибо было мне ясное знамение:
крепость здесь возвести против зла.

И она поднялась — освещенная солнцем твердыня,
словно сокол, с вершины скалы
озирающий необозримые дали.

Между тем опускается ночь.
Тьмой окутались белые башни,
и в бойницах погасли лампадки.
Тишина.

Мои силы исчерпаны.

Я внезапною слабостью
сокрушен.

Все куда-то исчезло,
все пропало и сгнуло,
ничего не осталось, все кануло в бездну,
все, что было содеяно мной.

Приближается сон, тяжело по щебенке ступая.
Он лишит меня воли, сомнениям руки развяжет.
Я и грех мой останемся с глазу на глаз.

Выступая из тьмы, окружают меня безымянные
люди,

стар и млад,
и мужчины и женщины,
имя им легион.
Не они ли зиждители жизни?

И проклятия их тяжелее, чем камни в усталых
руках:

«И не видел ты, Марко Король,
как страдали мы, как погибали!
А мы погибали!
И не слышал ты, Марко Король,
как оставленные на стерне наши дети,
словно птенчики, звали своих матерей.
Ты не слышал их крика,
от которого волосы дыбом вставали,
а мы слышали!
Будь же проклята правда твоя,
иссушившая нас, как колодцы
иссушает июльское пекло!»

И теперь в этом жутком бреду
слышу крик я умолкших навеки младенцев
и по-ангельски кроткий укор вижу в мертвых глазах.
Я один. Меня судит мой собственный грех.

И открылась мне горькая истина:
не единственна правда моя.
В мире, кроме моей,
есть другая какая-то правда,
ибо жизнь — это море с приливами зла и добра,
ибо жизнь — та река, где сливаются зло и добро,
словно мутный поток и прозрачный.

Я предвижу нашествие зла.

Уже слышится неумолимая поступь.

Кто мне скажет, какой оно путь изберет?

По какому нахлынет на этот раз руслу?

Моя белая крепость, я знаю, не выдержит

натиска зла

и падет, как и многие гордые замыслы.

МАРКОВ МОНАСТЫРЬ

Во искупление греха — смерти семидесяти младенцев
во время строительства крепости — Марко построил
семьдесят церквей.

Народная легенда

Я выбрал безлюдное тихое место —
в горах заложил монастырь,
чтоб через грядущие годы он память пронес обо мне.
Грабитель, здесь нечем тебе поживиться —
ни золота, ни серебра — только сумрак холодный,
как в сердце, истерзанном болью.

Когда я впервые на паперть всходил по гранитным
ступеням,
из камня шаги исторгали болезненный стон.

Я замер.

Мертвящая тишина

влилась в мои жилы, меня охватила ознобом.

А слева и справа при входе во храм
я вижу тревожные лики святых.

Предостерегающе подняты руки:

«Не должно тебе в эти двери входить!»

Я жажду познать, кто я есть.

Вхожу под суровые своды обители,

как будто вхожу в свою душу.
Не видно внезапно раздавшихся стен.
Неясные тени, таившиеся в полутьме,
ко мне приближаются в грозном молчании:
подходят суровые воины с копьями наперевес,
и плакальщицы над погибшими руки заламывают,
и веточки вербы сжимают в руках
несчастные осиротевшие дети.

Они подступают ко мне и теснятся вокруг.
Сомкнулось кольцо искаженных страданием лиц.
Мне жутко.
Меня захватила зловещая их круговерть.

Скажите, зачем вы явились? —
Мой голос звучит одиноко под сводами, —
ни звука в ответ,
но призраки вдруг отступили
и вновь притаились во мраке, скрывающем стены.

Терзаемый невыносимой мукою, приблизился
я к алтарю
с надеждой, что от наваждения
избавит меня и вернет мне покой обращение к богу.
И вдруг тишина оглашается воплями —
под сводами храма рыдает Рахиль,
стенает она, причитает, невинных младенцев
оплакивает,
исходит вселенскою скорбью.

Теряя рассудок, покинул я храм
и прочь одиноко побрел.
Я чувствую: ноги мои каменеют,
во тьме опустелой обители под сводами моей головы
таятся зловещие тени.

И нет мне спасения,
и нет мне прощения,
и памятью не огражден я от мук.

Молю я затеплить лампаду —
душа моя — словно потухший очаг,
и я в моем сердце обитель мою
в могилу нести обречен.

ПЕСИЙ ПРИГОРОК

(Эпилог)

Много дней сражался Марко на Песьем пригорке
близ Прилепа. Взмахнет, бывало, саблей и разрубит
врага надвое, а обе половины оживают, и встают уже
двое. Видит Марко, что не выстоять ему, подковал
он коня задом наперед, укрепил барабаны так, что
бил в них ветер, — все для того, чтобы не догадаться
было, что в крепости никого нет, и пропал в ночи.

Народная легенда

Долгом своим я считал эту долгую битву.

Не на живот, а на смерть

изо дня в день.

Руки по плечи в крови.

Ноги по бедра в крови.

Изнемогая в ратном труде,

не отступал до последнего,

бился, пока не иссяк я,

словно колодец в июльское лютное пекло, —

только одно и осталось желание:

да не увидит никто моей смерти!

Каждое утро на Песьем пригорке,

гневен и грозен, врубаюсь в бесовское войско.

Слева и справа исчадия ада.

Я их рублю и даваю,
я их валю как стволы,
словно я просеку в чаще прокладываю.
Но после ратного дня
вновь поднимается воинство вражье,
неистребимым бурьяном
после прополки встает,
будто я ратай,
который возделывал грязную реку —
ни борозды, ни следа.

Полночь глухая — лихая пора.

Слышу я:

зло поднимается мутной водою,
все затопляя вокруг.

Может быть, не ратоборствовал я от зари

до зари?

Может быть, я не рубил, не громил, не разил?

Все, что мной сделано, —

сгинуло,

кануло в бездну.

Ставь барабаны гудеть на ветру,
да перекуй мне, кузнец, жеребца,
задом прибай наперед поживее подковы, —
чтобы, и сгинув, я блазнил врагов,
пусть не увидит никто моей смерти.

Да не увидит никто моей смерти,

буду я с нею один на один,

словно с невестою

в брачную ночь!

Челны

1984

КОЧО РАЦИН¹

Солнцем, водою и потом зачатая,
песня батрацкая рвется на волю.
Песня зари после ночи отчаянья —
каждое слово знакомо до боли.

Солнце над полем табачным пылает,
спины поденщиков жарит нещадно.
Губы сухие о влаге мечтают,
но не сыскать тут и тени прохлады.

Где-то вода холодна и хрустальна,
здесь — только горечь крестьянского пота.
С привкусом этим в многострадальном

сердце родилась песнь против гнета.
В голосе твердом пророка печального
слышите, слышите грозную ноту.

¹ Рацин Кочо (1903—1943) — македонский революционный поэт, автор книги стихов «Белые зори» (1939).

ЧЕ ГЕВАРА

Бунт одержал победу, и бунтарь
самозабвенно славу пожинает.
У власти снова каста, словно встарь,
и обновление вновь не наступает.

Но где-то новые отряды вождь
ведет на голод, жажду и невзгоды.
Над Андами шумит ужасный дождь
и заунывно воет непогода.

Он чистоты от каждой бури ждал,
наивно присягая вере старой.
Но если ты и впрямь от лжи устал, —

погибни: жизнь твоя обречена.
Ведь на вершину эту, Че Гевара,
тропа известна, и она — одна.

ЧЕШМЫ ¹

В чешме скрывается чудная сила,
мрамор струей оmyвает журчащей.
Путников многих она напоила
влагой волшебною, животворящей.

И, обновленный, с блаженством на сердце
путник жару переждать оставался.
Черствой лепешкой, томатом да перцем
перед дорогою он подкреплялся.

Здесь, под акацией или под грушей,
мыслью одной осенен он неожиданно:
что, если чешма имеет душу?

И снова он дома, но постоянно —
даже во сне суждено ему слушать —
чешмы спасительный шум беспрестанный.

¹ Ч е ш м а — родник, облицованный камнем.

ПЕРЕЦ

Прилепский край наш добрым перцем знатен,
на рынках он — заметнее всего.
Его едим мы с мясом и в салате
и маринуем на зиму его.

Бывает перец горький, сладкий, острый,
он, как лекарство, исцеляет нас.
Мы соли с перцем пробовали вдосталь,
и пинджур¹ жизнь нам украшал не раз.

Гирлянды перца — осени приметы —
с балконов и из каждого окна
горят воспоминанием о лете,

и всякий дом, как юная жена.
От века в век живет обычай этот:
где перец есть, там сила быть должна.

¹ П и н д ж у р — национальное блюдо из перца и помидоров.

ЮРУКЛУК

Над Миравцами пепельной грядкою
царят холмы седого Юруклука,
полоской неба ярко-голубою
очерчена холмистая округа.

Немало колесил я по планете:
в Сибири быть и в Индии случалось,
был в снежных Альпах, но нигде на свете
второго Юруклука не встречал я.

Хотя бы раз сюда вернуться снова —
меня тоска и жажда очищенья
зовут коснуться неба голубого.

Но для кого все эти откровенья?
Важней любого сказанного слова
самой души немое вдохновенье.

ТУМАН

Опять во мне напевом одиноким —
песнь журавля в холодном зимнем небе.
Как он, я в мыслях воспарил высоко,
но притянул к земле меня мой жребий.

Мерцает ночь, разбрызгивая искры,
и всякий луч, туманом поглощенный,
соединяет нитью серебристой
живой предмет и неодушевленный.

И человек, окутанный туманом,
становится бесплотным силуэтом,
и призраком, и зрения обманом,

разорванный на части зимним ветром,
с душою, словно пойманной капканом,
с вопросом вечным: кто ты? что ты? где ты?

СНЫ

Лишь только сны мне юность возвращают,
ее приметы явственны во сне,
и до краев меня переполняет —
что не сбылось, а быть могло вполне.

И лишь тогда ожившее былое
во сне моем стремительно летит.
И все, что днем закрыто пеленою,
вдруг ясно оживает в забыти.

И то, что не достигнуто, как прежде
меня влечет, и, к цели устремлен,
я рвусь вперед, в несбыточной надежде,

а где-то там уже рассвет зажжен.
И день, как осень, неизбежно
опять приходит, размывая сон.

ТРАКТАТ О РОЖДЕНИИ ПЕСНИ

Мысли текут непрерывно, отсутствует ритм.
Что здесь первоначально: мысль или ритм,
откуда такая гармония звука и слова?
Слухом овладевает мелодия песни,
но яркость ее — от сверкания мыслей,
подобного блеску скрестившихся молний.
Так музыка царствует,
но и она имеет свой первородный исток.
То, что является следствием, не может считаться
исходным,
а может лишь черпать из первоначального силу.
Радуга светом своим ослепляет,
а это сиянье — от капель, пронизанных солнцем,
И музыка не появляется из пустоты —
она, точно искра от близости кремня с кресалом,
рождается от столкновения мыслей.
Итак, первоизданно лишь то, к чему возвращаемся,
нечто туманное, что называем Идеей.

ВОСПОМИНАНИЕ

В этом домике на склоне Виргин-горы
еще немного — и мы бы смогли
до конца насладиться патриархальной жизнью.
Если бы это случилось.
Старый перстень сверкал бы на пальце твоём,
ты бы знала, когда надо надеть
свое лучшее платье.
Если бы это случилось.

Теперь, застыв, я стою перед домиком.
На окнах чужие висят занавески.

ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ

Их руки невольно соприкоснулись
в едва заметном волнении
на пороге музейного зала.

Они сели рядом, чувствуя близость друг друга.

Не было необходимости рассказывать свою жизнь —
достаточно было смотреть на «Розовые кувшинки»

Клода Моне

и ощущать за спиной «Гернику» Пикассо.

ПЕСНЯ ПЕВИЦЫ

Самое важное — это случайная,
единственная,
неповторимая,
скоротечная близость
кресала и камня,
пламени и воды,
ладони и сердца, —
вот где запрятана суть!
Берусь утверждать, что нет ничего важнее
эфемерных вещей,
лишь однажды происходивших,
запечатленных,
увиденных,
услышанных только раз —
подобных твоей песне,
от которой замирает душа!
Разве не она это кружит вдали,
облетая орбиту
наших нимбов?
Разве я не тот единственный,
что под куполом звездной вселенной
может внимать этой песне?!

БЫВШИЕ БРАТЯ

Были детьми и в дорогу отправились,
на гору вместе решили взойти.
Шли и карабкались долго, и выросла
где-то меж ними стена по пути.

С детства дружны были мальчики милые.
Как же случилось несчастье такое,
что не встречаются больше, не видятся,
друга не могут коснуться рукою?

Ни закричать, ни позвать не решаются,
ни подойти, потому что боятся,
что еще дальше, бывшие товарищи,
в мире ревущем они отдалятся.

Просьб избегают, расспросов пугаются,
стона случайного, малого слова.
Долгим молчаньем готовы обманывать
всех и себя они снова и снова.

Каждый по-прежнему любит и думает:
только не стать бы помехою брату.
Чтобы продлить хоть немного любовь свою,
каждый скрывает боль и утрату.

ДЕРЕВЦЕ, ПЕРЕСАЖЕННОЕ С ГОРЫ КОЖУВ

Оно говорит:
люди нетерпеливы,
а я не спешу вырастать.
Мои думы запрятаны в корне
и постепенно уходят под землю.
У меня достаточно времени,
будущее принадлежит мне —
ты только скажи, как мне тебя
вспоминать,
когда вырасту?

ГОНЧАР

Он на базар принес творенье рук своих —
горшки, кувшины, глиняные миски.
Их вокруг себя расставил на земле,
чтоб пестротою росписи и красок
напоминали сад пред Троицыным днем;
иль походили на детей
большого и счастливого семейства,
которые в разгаре торжества
застыли перед фотоаппаратом.

Старик гончар не оставлял на них
следов своих трудолюбивых пальцев.
Но, отдавая их в чужие руки,
он вместе с каждым отдает
частицу своего тепла,
застывшее прикосновение рук,
неравномерность пульса и дыхания
и трепет сокровенной мысли.

Вот чем торгует он!

ДАНТЕ

Дойдя до середины жизни — признался
Данте —

я вступил в глухую чащу,
и с той поры — добавил он — уже не выходил
оттуда.

И вот теперь,
когда все позади,
я продолжаю верить в чудо
и ждать решающего мига,
какого-то наития души.

Мне жизнь ответа так и не дала,
и, точно птица в клетке птицелова,
мой дух, ослепший и поработанный,
не чаёт вырваться на волю.

Что мне — предаться забвению
или самоуничтожению
или сойти с ума?

А может, лучше выпрямиться мне,
в действительности горькой, но реальной
найти опору?

В который раз уж потеряв дорогу,
я силюсь выбраться из тупика.

Но как и где
найти проводника,
к кому мне обратиться за подмогой?

Мне, что прошел
все адовы круги?

Тогда вдруг я услышал голос:
о человек, найди немного влаги
в иссохшей почве собственной души.
И не сдавайся!

ЦВЕТЫ

Лишь только цветы тебя дружбой дарят
бескорыстной,
только они так умеют молчать — выразительно
и горделиво;
ты с высоты своей мудрости не отвергай их немного
признанья,
не отвергай их руки, что протянута в знак
сострадания,
лови этот зов, что, как запах, минует тебя
молчаливо.

Лишь только цветы тебя к жизни еще вдохновляют,
словно ты встал в хоровод и кружишь посредине
вселенной;
воскликни: я жив! я дышу! я свободную жизнь
прославляю! —
покуда иду в хороводе и чувствую твердость
в коленях.

Лишь только цветы тебя учат спокойствию духа,
учат тому, что рожден ты на свет не напрасно,
что в этом мире, который кошмаром врывается в ухо,
ты не один — и ко многому был сопричастным.
Лишь только цветы лепестковым своим разноцветьем
учат тебя в тишине находить откровенье,
шумным внимать ручейкам, мимолетному шороху
ветра,

каждому новому отзвуку и мановенью.
И в этой боли своей бессловесной
учат спокойствие находить и равновесье.

ДОЙРАНСКИЕ БУРИ

Снова в крошечной ночи конница скачет безумная,
топот несметных копыт,
воздух дрожит от наезда.
Это из мертвых воскресло адское войско,
и с шумом
мрачные струи потоком низвергнуты в черную
бездну.

Напрасно сознание будет из снов воздвигать
преграды,
напрасно его стремление в явлениях суть
обнаружить.

Буря немного утихнет, чтобы обрушиться снова,
и перед нею душа беспомощна и безоружна.

И не поможет сберечься от разъяренной стихии
эта защита из лжи, эта броня из обмана —
ими себя от себя человек заслоняет
и закрывает тайком жизни надуманной раны.

И ты не прикроешься сном —
он хрупок и непостоянен,
и сам себя возненавидишь
за пустую бесплодность мечтаний.

Ты обнажен и бессилен, и вот уж во власти стихии,
несомый, как лист, и растоптанный, словно букашка.
И страхом, и страхом пронизана каждая жилка,
и каждой косточке страшно.

Какой-то безумный хохот ночное безмолвье
нарушил —
это не ветер гудит,
это совесть бичует душу.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Милорад Блечич. Слово о поэте. Перевод Т. Кустовой</i>	3
---	----------

ИЗ СТАРОГО БЛОКНОТА

1941—1945

<i>Песня жизни. Перевод В. Санчука . . .</i>	16
<i>* Колокола. Перевод Ю. Мориц . . .</i>	17
<i>Ночная песня. Перевод И. Фонякова . .</i>	18
<i>Разлука. Перевод А. Наль</i>	19
<i>Похоронная песнь. Перевод Т. Бек . .</i>	20
<i>Старая. Перевод А. Наль</i>	21
<i>Песня узницы. Перевод Т. Бек</i>	22

<i>МОСТ. Поэма. 1945. Перевод Т. Бек . .</i>	24
--	-----------

ЗЕМЛЯ И ЛЮБОВЬ

1948

<i>* Тёшкото. Перевод М. Зенкевича . . .</i>	38
<i>* Илинденские мелодии. Перевод Ю. Мо- риц</i>	41
<i>Песня («Спой же мне, внучек...»). Пере- вод В. Санчука</i>	48
<i>Письмо. Перевод Т. Бек</i>	50

* Солнечная колонна. Перевод А. Суркова	52
Весенняя песня. Перевод Т. Бек	55
Веселая песня. Перевод И. Фоякова	57
Утро («Я каждое утро здесь прохожу...»).	
Перевод И. Фоякова	58
Караорман. Перевод Ю. Мориц	59
Охрид. Перевод Ю. Мориц	61
Дойран. Перевод С. Гандлевского	63

СТИХИ

1953

Лирические записи

* Зов. Перевод Ю. Мориц	68
Весна («Ночью я слышал песню...»). Перевод А. Наль	69
Равнина. Перевод О. Николаевой	70
* Колыбельная. Перевод Ю. Мориц	71
Отчаяние. Перевод И. Фоякова	72
Молитва («Я на нее молюсь издалека...»)	
Перевод И. Фоякова	73
Шорох. Перевод И. Фоякова	74
Осеннее утро. Перевод С. Гандлевского	75
* Полночь («Крик журавля в бескрайней мгле...»). Перевод Ю. Левитанского	76
Мечта. Перевод О. Николаевой	77
* Стихи о маслинах. Перевод Ю. Левитанского	78
Прощальная песня. Перевод О. Николаевой	79
* Молитва («Полночью в лес отправишься...»). Перевод Ю. Левитанского	80
Зимний день. Перевод А. Наль	81
Возвращение. Перевод О. Николаевой	82

Буря. Перевод Ю. Мориц	83
Пустыня. Перевод М. Еремина	84
Песня («Ты не можешь солгать...»). Перевод О. Николаевой	85
В корчме. Перевод А. Налъ	86
Песня («Где ты, время, когда песня...»). Перевод В. Санчука	87
Служба. Перевод А. Налъ	88
Память о Славее. Перевод А. Налъ	89
Бдение. Перевод О. Николаевой	90
Любовь. Перевод И. Фоякова	92
О незнакомке. Перевод С. Гандлевского	93
Лик. Перевод О. Николаевой	96
* Рожь. Перевод Ю. Левитанского	97
Пшеница. Перевод Т. Бек	98
* Мак. Перевод Ю. Левитанского	99
Земляника. Перевод Ю. Мориц	100
Весенним вечером. Перевод О. Николаевой	101
Кумановский перевал. Перевод Ю. Мориц	103
Стихи о Фаусте. Перевод О. Николаевой	104
Обиды. Перевод Ю. Мориц	105
Икона. Перевод Ю. Мориц	106
Горлица («Горлица — гортанная речь...»). Перевод О. Николаевой	107
Ангел Святой Софии. Перевод А. Налъ	108
Калемегдан. Перевод И. Фоякова	109
Скопле. Перевод Т. Бек	111
БУНТ КАРПОША. Перевод Т. Бек	112
Монологи и диалоги	
Воспоминание («Что в прошлом помню? Белые туманы...»). Перевод И. Фоякова	115
Диалог в полночь. Перевод Т. Бек	117
* Игра с ребенком. Перевод Ю. Мориц	120

ВЫШИВАЛЬЩИЦА

1955

Стихи. Перевод А. Наль	126
* Вышивальщица. Перевод М. Зенкевич	127
Григор Прличев. Перевод С. Гандлевского	129
Снег. Перевод И. Фонякова	131
Звезды. Перевод А. Наль	132
Роза. Перевод А. Наль	133
Засыпание. Перевод Н. Злотникова . .	134
Вий. Перевод А. Наль	135
Чайка. Перевод Н. Злотникова	136
Нежность. Перевод Н. Злотникова . . .	137
Разлука («Прошу, приди, родная...»). Пе- ревод Н. Злотникова	138
На танцах. Перевод Н. Злотникова . .	139
Кошмар. Перевод В. Санчука	140
Песня («Что ж я один туда воротился...»). Перевод Н. Злотникова	141
Тишина. Перевод Н. Злотникова . . .	142
* Весна («Очищается мутное око неба...»). Перевод Ю. Мориц	143
Тайна. Перевод Ю. Мориц	144
Смех. Перевод С. Гандлевского	145
Сеть. Перевод М. Еремина	146
Река. Перевод С. Гандлевского	147
Здравица. Перевод С. Гандлевского . .	148
С поезда. Перевод Ю. Мориц	149
Старуха. Перевод Н. Злотникова . . .	150
* Отдых. Перевод Ю. Левитанского . .	151
Утро («Утренние посетители парка...»). Перевод А. Наль	152
Дуб. Перевод Ю. Мориц	153
* Ствол. Перевод Ю. Левитанского . . .	154
Ласточки. Перевод А. Наль	155
Пасечник. Перевод А. Наль	156

Уголь. Перевод А. Наль	157
Штип. Перевод А. Наль	158
* Ребенок, уснувший на берегу озера. Перевод Ю. Левитанского	159
Больной Дойчин. Перевод Т. Бек	160
Золушка. Перевод А. Наль	162
* Любовь («Сухое копьё они мне воткнули в сердце...»). Перевод Ю. Левитанского	163
Волк. Перевод О. Николаевой	164
Влюбленные девушки. Перевод О. Николаевой	165
Красивые женщины. Перевод О. Николаевой	166
Реки. Перевод И. Фонякова	167
Тореадор. Перевод И. Фонякова	168
Полночь («Щелкает выключатель...»). Перевод О. Николаевой	169
* Присказка. Перевод Ю. Левитанского	170
Прощание с Парижем. Перевод О. Николаевой	171
Аскеты. Перевод В. Санчука	172
Колумб. Перевод Н. Злотникова	173
Портрет. Перевод А. Наль	174
Водно. Перевод Т. Бек	175
* Песнь виноградной лозы на горе Водно. Перевод Н. Злотникова	176

ЗАПИСИ

1974

Молодость. Перевод А. Наль	178
Часы. Перевод О. Николаевой	179
* Сон. Перевод М. Ваксмахера	180
* Разговор с ребенком. Перевод М. Ваксмахера	181

Гора. Перевод О. Николаевой	182
Накануне годовщины смерти отца. Перевод О. Николаевой	183
* Струмички. Перевод М. Ваксмахера	184
Горлица («Голос твой не целебен, как прежде...»). Перевод О. Николаевой	185
* Звук. Перевод Ю. Левитанского	186
Завет. Перевод Ю. Мориц	187
Сокровищница. Перевод Ю. Мориц	188
Одинокый олень. Перевод П. Серебрякова	189
Перевал. Перевод И. Фонякова	190
Засуха. Перевод О. Николаевой	191
Дон Кихот. Перевод О. Николаевой	192
Одиссей. Перевод Ю. Мориц	193
Любовница. Перевод В. Санчука	194
Три крупные женщины. Перевод О. Николаевой	196
Куманово. Перевод О. Николаевой	198
Внук. Перевод В. Санчука	199
Воспоминанье («Ты уже постарела...»). Перевод О. Николаевой	200
* Кузнечики. Перевод М. Ваксмахера	201
Бабочка. Перевод О. Николаевой	202
Ревматизм. Перевод Ю. Мориц	203
Озеро. Перевод О. Николаевой	204
Предсказание несчастья. Перевод О. Николаевой	205
Слово. Перевод Ю. Мориц	206

НОВЫЕ ЦИКЛЫ

1979—1980

Среди деревьев

Груша. Перевод А. Наль	208
Певице. Перевод В. Санчука	209
Выздоровление. Перевод В. Санчука	210

Грядущее. Перевод А. Наль	211
Родник твоего голоса. Перевод А. Наль	212
Пес. Перевод С. Гандлевского	213
Старая лоза. Перевод А. Наль	214
У соседки умирает сын. Перевод И. Фонакова	215
Память о Гьере. Перевод С. Гандлевского	216
Среди деревьев. Перевод И. Фонакова	217
Отмщенье. Перевод И. Фонакова	218
Молодой кедр. Перевод И. Фонакова	219

Веселые стихи

О жизни. Перевод Н. Злотникова	221
Воробы. Перевод Н. Злотникова	223
Неизвестность. Перевод Н. Злотникова	224
Объятие. Перевод А. Наль	225
Песнь песней. Перевод А. Наль	226
Зрение. Перевод И. Фонакова	227
Агс poetica. Перевод Ю. Мориц	228
Молитва на сон грядущий. Перевод И. Фонакова	229

Жития на каждый день. Перевод В. Корчагина

Бона	230
Житие Тасы Боянской	231
Тетка-Краса	232
Успение тетки Менки	234
Наш Орде	235
Дядя Ристе	236
Дедушка Илия	241

Марко Королевич

* Лишение силы. Перевод Ю. Мориц	243
Стерна. Перевод М. Еремина	246

Крепость. Перевод М. Еремина	250
Марков монастырь. Перевод М. Еремина	254
Песий пригорок. Перевод М. Еремина .	257

ЧЕШМЫ

1984

Кочо Рацин. Перевод А. Глуховского .	260
Че Гевара. Перевод С. Гандлевского . .	261
Чешмы. Перевод А. Глуховского . . .	262
Перец. Перевод А. Глуховского	263
Юруклук. Перевод А. Глуховского . . .	264
Туман. Перевод А. Глуховского	265
Сны. Перевод А. Глуховского	266
Трактат о рождении песни. Перевод А. Глуховского	267
Воспоминание («В этом домике на скло- не Виргин-горы...»). Перевод А. Глухов- ского	268
Посещение музея. Перевод А. Глуховско- го	269
Песня певичы. Перевод А. Глуховского .	270
Бывшие братья. Перевод В. Санчука . .	271
Деревце, пересаженное с горы Кожув. Перевод А. Глуховского	272
Гончар. Перевод А. Глуховского . . .	273
Данте. Перевод А. Глуховского	274
Цветы. Перевод А. Глуховского	276
Дойранские бури. Перевод А. Глуховско- го	277

Конеский В.
К64 Стихи: Пер. с македон./Предисл. М. Блечи-
ча. — М.: Худож. лит., 1987. 286 с.

Сборник югославского (македонского) современного поэта, академика Блаже Конеского (род. 1921 г.), составляют произведения из книг «Земля и любовь» (1948), «Стихи» (1953), «Вышивальщица» (1955), «Записи» (1974), «Чешмы» (1984) и др.

К 4703000000-167 185-87
028(01)-87

ББК 84.4Ю

Блаже Конеский

СТИХИ

Редакторы

О. Кутасова, Е. Рубина

Художественный редактор

Т. Самигулин

Технический редактор

Л. Ковнацкая

Корректоры

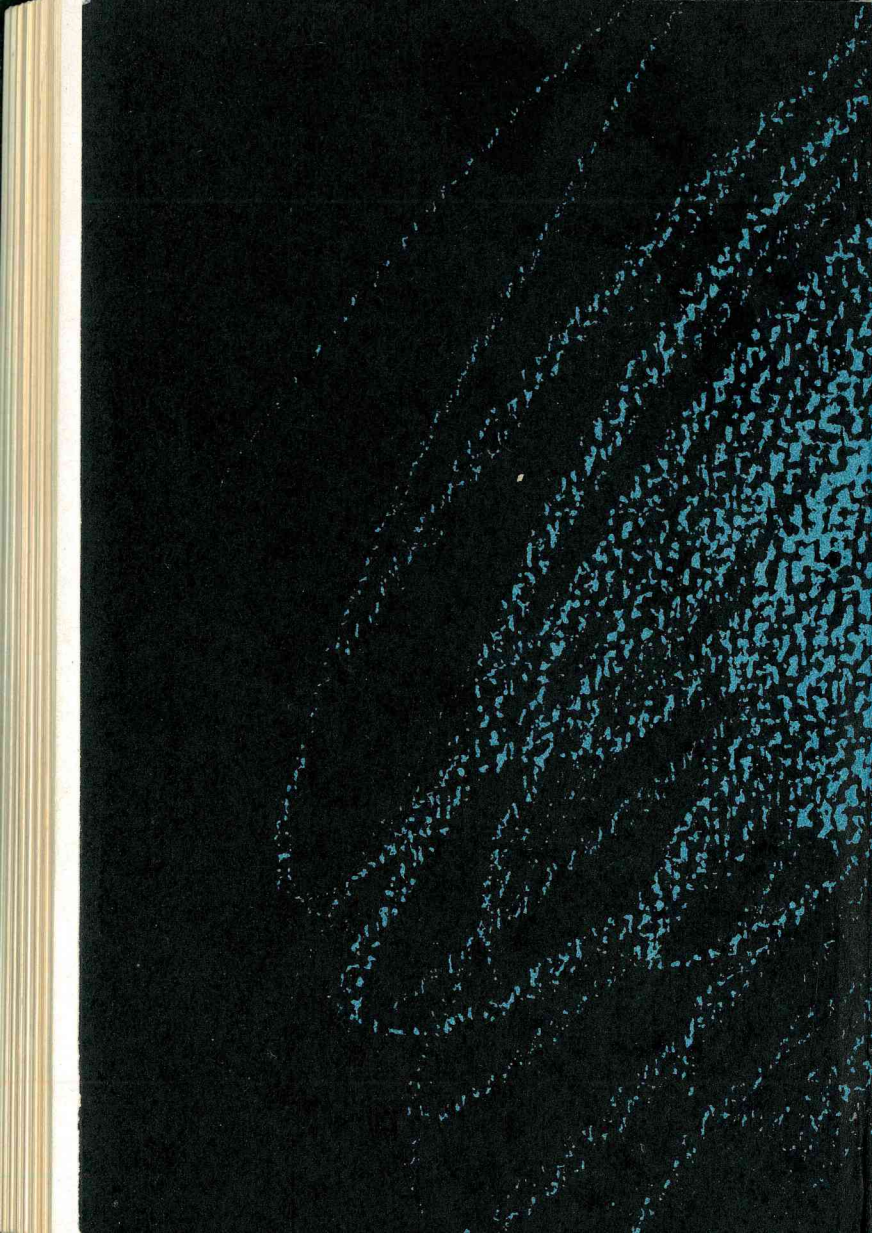
Л. Овчинникова, Г. Гананольская

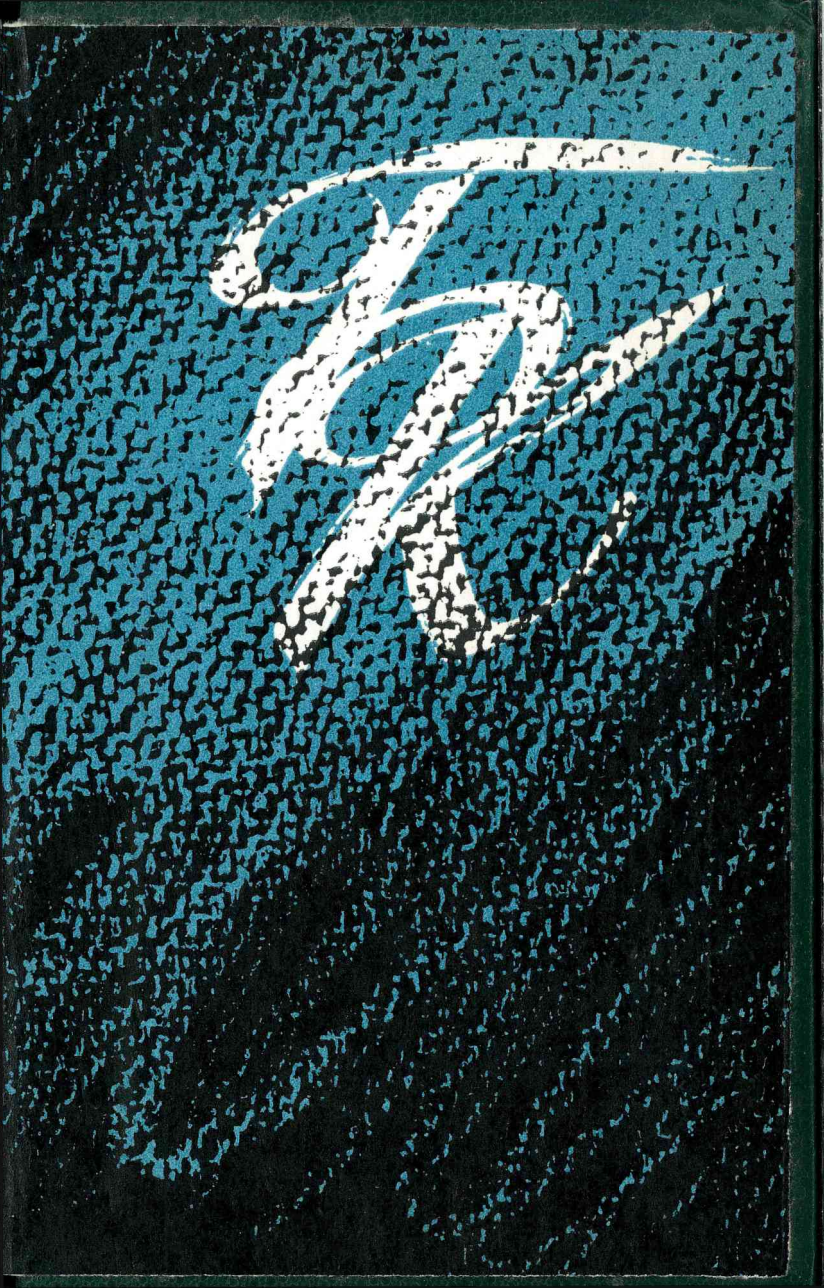
ИБ № 4325

Сдано в набор 25.06.86. Подписано
в печать 05.01.87. Формат 70×90¹/₃₂. Бу-
мага типографская № 1. Гарнитура
«Школьная». Печать высокая. Усл. печ.
л. 10,5+1 вкл.=10,54. Усл. кр.-отт. 10,83.
Уч.-изд. л. 7,22+1 вкл.=7,25. Тираж
10 000 экз. Изд. № V-2210. Заказ № 954.
Цена 1 р.

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Художественная лите-
ратура». 107882, ГСП, Москва, Б-78,
Ново-Басманная, 19

Типография издательства «Калинин-
градская правда», 236000, Калинин-
град обл., Карла Маркса, 18.





• *Бумага Коллекция* • *СТЫХИ* •